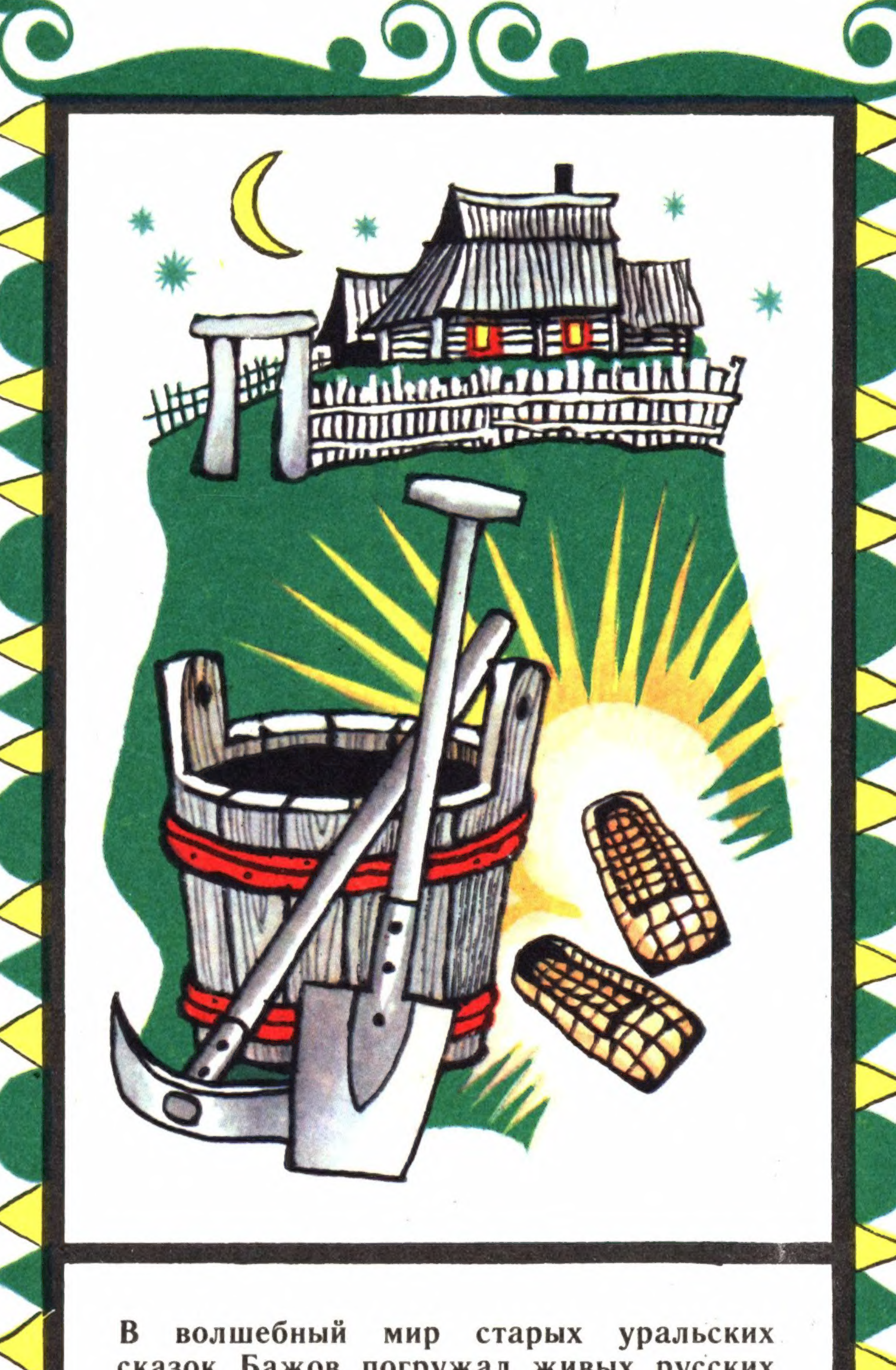
П. П. БАЖОВ
МАЛАХИТОВАЯ
ШКАТУЛКА



В волшебный мир старых уральских сказок Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказки, как земная любовь простой русской девушки победила волшебную силу Хозяйки Медной горы.

Алексей Сурков

1879—1950

П. П. БАЖОВ

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Москва
«Просвещение»
1987

ББК 84Р7-4
Б16

Рецензенты:
доктор филологических наук *Б. П. КИРДАН;*
учитель средней школы № 66 Москвы *Н. М. КЛИМКИНА*

Текст печатается по изданию: П. П. Бажов. Малахитовая шкатулка. М.: «Художественная литература», 1980.

Составитель и автор предисловия *Н. И. САВУШКИНА*

Художник *Р. Ж. АВОТИН*

Бажов П. П.

Б16 Малахитовая шкатулка/Сост. и авт. предисл. Н. И. Савушкина.— М.: Просвещение, 1987.— 303 с.: ил.

В сборник включены лучшие уральские сказы П. П. Бажова. Яркие народные характеры, созданные писателем, воплощают в себе необыкновенное трудолюбие и талантливость рабочего человека.

Книга предназначена для учащихся 5—6 классов средней школы.

Б $\frac{4306000000—414}{103(03)—87}$ КБ—52—33—1986 (4800000000) ББК 84Р7-4

«МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА

Любознательный читатель, взяв в руки эту книгу, непременно задумается над тем, почему она так названа.

Малахитовую шкатулку, ларчик из красивейшего уральского камня, наполненный украшениями из других самоцветных камней, подарила на свадьбу рудобою Степану и его жене Насте Хозяйка Медной горы. Этот волшебный подарок имеет важный смысл для понимания не только одноименного сказа, но и всей книги. Шкатулка из зеленого «веселого» камня, которую берегут и передают из поколения в поколение, напоминает о тяжелом труде и упорстве добытчиков уральских подземных богатств, о большом искусстве народных мастеров, гранильщиков и камнерезов. Уральские рабочие, мастера горного дела — герои сказов П. П. Бажова.

Название книги оказалось удачным еще и потому, что писатель постепенно «складывал» в этот сборник, как в шкатулку, все новые и новые произведения. Сказы, как драгоценные камушки, сверкали и переливались народной выдумкой, фантазией и были огранены, обработаны Бажовым с большим писательским мастерством.

Кто же был автор этой книги сказов? Как удалось ему узнать так много интересного из прошлого своего края, его талантливых и трудолюбивых людях, о необыкновенных, часто таинственных случаях, происходивших с ними? Как сумел он так мастерски, увлекательно написать об этом?

Павел Петрович Бажов родился и прожил жизнь на Урале. Его детство и отрочество прошли в городке Сысерти и на Полевском заводе, входившем в Сысертский горный округ. Отец его в ту пору был рабочим. Независимый характер отца, за острый язык получившего прозвище Сверло, был причиной недовольства им со стороны заводского начальства. За обличение несправедливых порядков его не раз переводили с одного завода на другой, а иногда и увольняли с работы. Однако заводчики не могли обойтись без опытного мастера и снова принимали его в цех.

Мать писателя была искусной кружевницей. Еще в детском возрасте она была отдана в мастерскую-«рукодельню», где научилась искусству плетения кружев и вязания чулок. Не щадя глаз плела она кружева и вязала ажурные чулки для жен и дочерей заводского начальства. Это было большим подспорьем для семьи, особенно во время вынужденной безработицы мужа.

Свои детские годы Бажов описал в повести «Зеленая кобылка». Рассказывает он в ней о жизни ребятишек заводского поселка, их занятиях, дружбе и ссорах, приключениях. Рано начинала ребятня сознавать себя «ответственными членами семьи»: пойти на рыбалку значило «добыть на ушку, а то и на две», сходить в лес — принести ягод и грибов.

В автобиографическом произведении «Дальнее — близкое» и очерках «Уральские были» писатель рассказал, как ему удалось получить образование при содействии ветеринарного врача и общественного деятеля Н. С. Смородинцева (в очерках — Алчаевского), который уговорил родителей отправить мальчика учиться в город Екатеринбург (нынешний Свердловск).

Сегодняшние школьники, обратившись к этим произведениям Бажова, узнают из них о том, как росли и стремились к образованию дети рабочих в дореволюционной России.

Учился П. П. Бажов в Екатеринбургском духовном училище, а потом в Пермской семинарии. В эти учебные заведения обычно принимали детей духовенства, но делали иногда исключение и для «мирских». Из стен Пермской семинарии вышли известные уральцы — писатель Д. С. Мамин-Сибиряк, краевед и фольклорист В. П. Бирюков.

Выбор училища определялся материальным положением семьи. В гимназии и реальном училище плата за обучение

была в два-три раза выше, чем в духовном. К тому же там не требовалось дорогостоящей форменной одежды и предоставлялось общежитие.

После окончания в 1899 году семинарии Павел Петрович мечтал продолжить свое образование в университете. Однако из-за политической неблагонадежности (он принимал участие в выступлениях семинаристов против реакционно настроенных преподавателей, участвовал в маевках) ему было отказано в приеме в Томский университет. И вот в двадцать лет начал Бажов учительствовать сначала в глухой деревне Шайдурихе, а затем в Екатеринбурге и Камышлове.

В летние месяцы будущий писатель много путешествовал по Уралу. Где бы ни был Бажов, везде он приглядывался к окружающей жизни, беседовал с рабочими, записывал их меткие слова, разговоры, рассказы. Впоследствии он вспоминал, что его записи составили шесть тетрадей, которые пропали в годы гражданской войны. Богатый запас жизненных впечатлений, образцов народной речи очень помог ему в дальнейшем в работе журналиста, а потом и в писательском труде. Свою «кладовую» он пополнял всю жизнь. Вечерами, после утомительного рабочего дня Бажов составлял и пополнял картотеку метких слов, определений, пословиц. «Узелками для памяти» называл их писатель.

В Камышлове, куда Бажов переехал в 1914 году, он заводит знакомство с революционными группами рабочих, посещает подпольные кружки и собрания. Будущий писатель становится на путь революционной борьбы. В 1918 году он вступил в партию большевиков. В годы гражданской войны П. П. Бажов сражался в крестьянских партизанских отрядах Урала, Сибири и Алтая, вел партийную работу в Усть-Каменогорске и Семипалатинске.

В 1921 году по возвращении на Урал Бажов стал редактором Камышловской газеты «Красный путь». Он был журналистом «первого призыва», направленным в одну из многих создававшихся в эти годы по инициативе В. И. Ленина уездных и губернских газет.

Первая книга его исторических очерков «Уральские были» вышла в 1924 году, за ней последовали документальные очерки об истории революционного движения на Урале, о коллективизации. Однако его всесоюзная писательская известность

связана с публикацией в 1936 году в журнале «Красная новь» первых сказов — «Дорогое имячко», «Медной горы Хозяйка», «Про великого Полоза» и «Приказчиковы подошвы». Успех первых сказов побудил Бажова продолжить работу. Так он нашел себя как писатель.

Очевидно, мысль написать художественное произведение на основе малоизвестного еще уральского рабочего фольклора зрела давно. Еще в 1925 году Бажов вместе со старшими детьми обошел пешком все заводские поселки, близкие к его родине. Лето 1934 года он провел с семьей в Сысерти, обращаясь к воспоминаниям детства и юности, беседовал со старожилами.

Непосредственным толчком, поводом к написанию первых сказов, которые писатель считал тогда обработкой слышанных им народных преданий, «записью по памяти», было знакомство Бажова с собирателем уральского фольклора В. П. Бирюковым. В подготовленном В. П. Бирюковым сборнике «Дореволюционный фольклор на Урале» не было произведений народного творчества рабочих. В ответ на просьбу Бирюкова помочь ему в собирании рабочего фольклора Бажов и написал по памяти сказы, которые он слышал в детстве от старожила одного из уральских заводов В. А. Хмелинина.

На I съезде советских писателей А. М. Горький говорил об общественном значении и ценности фольклора. Он призывал собирать, изучать и использовать фольклор как один из источников литературного творчества. Эти мысли великого пролетарского писателя еще более утвердили Бажова в необходимости донести до читателей все богатство фантазии, всю занимательность сюжетов поэтического творчества уральских рабочих. В 1939 году в Свердловске вышла первым изданием книга «Малахитовая шкатулка».

Расцвет творчества писателя пришелся на годы Великой Отечественной войны. Он обращается к историческому прошлому Урала, его лучшим профессиональным традициям, преемственности рабочих династий. Особенно много в эти годы он встречается и беседует со старыми рабочими, записывает их рассказы. Бажовская «Шкатулка» пополняется новыми сказами — «Железковы покрышки» и «Жабреев ходок» (1942 г.), «Золотые дайки» (1945 г.) и другими.

В 1942 году «Малахитовая шкатулка» выходит вторым из-

данием, в 1944-м — третьим и четвертым (в Москве и Свердловске). Ее издают во Франции, Англии, Норвегии, Чехословакии и других странах. Все больше читателей узнают о книге, все больше растет спрос на нее.

В годину народной борьбы за победу книга оказалась особенно близкой людям, находившимся вдали от дома. Бойцы в письмах с фронта писали Бажову, что книга о народной мудрости и мастерстве учит гордиться вековой славой уральцев, крепче любить Родину и защищать ее от посягательств врагов. Писатель Борис Полевой в своих воспоминаниях рассказывает о том, как однажды в блиндаже у Вислы он увидел майора, с увлечением читавшего ночью перед боем какую-то книгу: «Мы видели, как этот невысокий человек, который вот уже около пяти дней нес на себе непосильную тяжесть, руководя горсткой советских солдат за рекой, человек, которому полагалось бы в эти редкие минуты отдыха свалиться и уснуть каменным сном, тихо прошел мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку, вытащил из подсумка какую-то книжку с оторванным переплетом и стал читать. Да, именно читать страницу за страницей, спокойно, сосредоточенно, будто сидел он за освещенным столиком в тихом библиотечном зале, а не лежал на соломе на крошечном куске земли, окруженном вражескими войсками, где его в любое мгновение мог похоронить снаряд... По мере того как он читал, его напряженное нервное лицо как бы отходило, преждевременные морщины разглаживались на нем, оно становилось спокойным и точно бы молодело. Читал он с полчаса, потом закрыл книгу, задумался о чем-то своем и, вероятно, очень далеком от его беспокойных фронтовых дел, вздохнул, убрал книгу в полевую сумку и прилег на соломе. Но заснуть ему так и не удалось». В тяжелом бою погиб майор, а книга, которую он читал в последние часы своей жизни, досталась как наследство фронтовым корреспондентам. Это была «Малахитовая шкатулка»...

Обращаясь к воинам во фронтовых газетах, Павел Петрович Бажов подписывался так: «Ваш старый уральский сказочник». В 1944 году ему было 65 лет.

Большой интерес читателей к «Малахитовой шкатулке» побудил Бажова рассказать о том, как создавались сказы, раскрыть секреты своего творчества.

Наполненная поездками, встречами со многими старыми

уральскими рабочими жизнь газетчика, конечно, во многом обогатила писателя. Но, по его словам, самыми важными и яркими оказались впечатления детства. «Запас образов и сюжетов уральского рабочего творчества у меня был с детских лет»,— вспоминал П. П. Бажов. Дома он многое услышал, узнал от отца и бабушки. Он любил слушать и других старых бывалых людей, знатоков прошлого. Хорошими рассказчиками были сысертские старики Алексей Ефимович Клюква и Иван Петрович Короб. Но лучшим из всех, кого довелось узнать Бажову, оказался старый полевский горняк Василий Алексеевич Хмелинин. Он работал сторожем дровяных складов при заводе, и у его сторожки на Думной горе собирались ребятишки послушать интересные истории. В то время Хмелинину уже шел восьмой десяток. «Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых валенках, не без задора вскидывал клинышком седой бороды, но все же чувствовалось, что доживал последние годы. Время высушило его, ссутулило, снизило и без того невысокий рост, но все еще не могло потушить веселых искорок в глазах» (Бажов, II, 303)[1]. Этот бывалый человек не потерял еще интереса к окружающему, чувства юмора, остроты ума. Хмелинин с десяти лет и до глубокой старости — «пока мога была» — работал по горному делу. Вначале «на Гумешках руду разбирал», потом «бегал с тачкой», а еще подрос — «дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные: «Поиграй-ко, позабавься»,— с горьким юмором рассказывал старик о своем детстве (Бажов, II, 306). Свои рассказы о Гумешковском руднике, его истории, хозяевах, необычных и загадочных случаях с рабочими, о «тайной силе» и девке Азовке, бурой кошке, ящерках и других чудесных помощниках горняков и камнерезов Хмелинин, как и впоследствии Бажов, отличал от сказок. Павел Петрович так вспоминал об этом: «Человек пять ребятишек уже давно ждут, но если кто-нибудь попросит сказку, старик всегда поправит: «Сказку, говоришь? Сказки это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот еще про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча. Много таких сказок маленьким сказывают. Только я это не умею. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье да про земельные дела — это вот помню.

---

[1] Здесь и далее ссылки на издание: Бажов П. П. Сочинения в 3-х т. М., 1952.

Много таких от своих стариков перенял, да и потом слыхать немало доводилось... Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь — сказку!» (Бажов, II, 304). Сказы, следовательно, отличаются от сказок тем, что в описываемые в них события верили люди, особенно близкие своей жизнью, профессией, характером труда к героям этих произведений. В сказах, как и в сказках, есть чудеса, фантастика, но они служат объяснению непонятных явлений природы, свойств полезных ископаемых, способов их добычи. А почему многие из них были тайными, предназначенными не для всех — вам станет ясно дальше. Для правильного понимания сказа очень важно обратить внимание на рассказчика, который, как правило, причастен к событиям своего повествования. Как дань памяти Хмелинину присутствует в сказах Бажова дедушка Слышко. Ему принадлежит важное место в книге. От имени деда Слышко, его устами ведет рассказ писатель Бажов. При чтении их, особенно вслух, создается впечатление, что слышен голос рассказчика, сказывающего ту или иную чудесную историю. Это и есть сказ как особая литературная передача живого языка повествователя, как особая форма литературного произведения. Вы, наверное, обращали внимание на то, что устная разговорная речь отличается от книжной. Фраза, предложение в ней строится иначе. Разговаривая или рассказывая что-то, люди все время обращаются к собеседнику. Они видят друг друга. Сказ — устное слово, устная форма речи, перенесенная в книгу. Вот и в сказах Бажова мы все время ощущаем присутствие и даже как бы видим веселого старичка, дедушку Слышко. Прозвали его так за постоянное обращение к окружающим: «слышь-ко», то есть: «знаешь ли», «послушайте-ко». Особенно заметно обращение деда к слушателям в начале повествования, когда он хочет привлечь внимание к рассказу, и в конце сказа, когда, как и при сказывании сказок, часто «перекидывается мостик» в современность, слушателям предлагается поразмышлять над услышанным. «Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекайте... У этой горы да Карасьего озера и поглядеть бы! А? Как по-вашему?» (с. 144) «Этого вот забывать не след. Что нынешнему человеку просто кажется, то старикам большим пóтом да мýкой досталось» (с. 215).

Но не только обращение к слушателям характеризует речь дедушки Слышко. Она передает нам его взгляд на мир, оценку людей и событий. Дед Слышко важен нам не только как рассказчик, передатчик известных ему сказов, но как личность. Он, старый мастер, многое повидавший и, главное, испытавший на своем веку, является выразителем мнения и отношения народа к окружающему, к народным героям, к народным угнетателям. Первыми он восхищается, вторыми возмущается, язвит и смеется над их глупостью и ничтожеством, клеймит коварство и злобу. Особенно достается от него барам и приказчикам. «...Так Турчанинову наш завод и отдали, да еще Сысерть на придачу. Эко — то богатство и вовсе даром!.. Приехал Турчанинов... Ну, ласковый язычок,— напел! Смолоду на этом деле — поднаторел!» (с. 101) «Был в Полевой приказчик — Северьян Кондратьич. Ох и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь» (с. 115). «Тут промеж бар чуть не драчишка случилась. Один другого винят, ни в чем сговориться не могут, суд завели. Вот тогда они и придумали с глупого-то ума у одних печей нарозно хозяйство вести» (с. 132).

Одобрение, восхищение рассказчика относится к героям активным, способным постоять за себя и других, как например Дуняха-птаха из сказа «Кошачьи уши», ушедшая в повстанческий отряд. Свое отношение и оценки дед Слышко часто скрепляет мнением народным, афористически выраженным в пословицах. «А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорили:

— Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет» (с. 168).

Сказы «Малахитовой шкатулки» объединяются в группы, связанные общими героями, как главными, так и второстепенными. Эта связь, называемая циклизацией, писателем специально продумывалась для придания книге большей цельности. Иногда сказы объединяет указание на одно и то же время и место действия. Часто в сказах дается как бы история одной рабочей семьи: Степана и Насти, их дочери; Катерины и ее мужа мастера Данилы, а затем и их детей; старателя Леонтия и его сыновей Пантелея и Кости. Такие семейные истории существовали да и сейчас существуют на Урале.

Общие в сказах и волшебные персонажи, главные из ко-

торых — Хозяйка или Малахитница и Полоз. Интересно их происхождение. Еще в глубокой древности сложились у людей представления о том, что подземные богатства охраняют чудесные существа. В фольклоре хранители недр выступают в облике или Хозяина, старика, горного духа или Хозяйки, девки Азовки. Действия их могут быть враждебны или доброжелательны по отношению к людям. Такие фантастические предания были широко распространены среди уральских рабочих, многие поколения которых трудились в тяжелейших условиях на «подземной каторге», в рудниках и шахтах. Стремление объяснить непонятные явления природы вызвало их к жизни, жажда справедливости, желание видеть удачу труженика и наказание угнетателя определили их содержание. Бажов использует, развивает и дополняет фольклорные традиционные мотивы. Хозяйка Медной горы не только хранительница сокровищ, но покровительница смелых и мужественных, творчески одаренных людей. Писатель наделяет ее необыкновенной внешностью. Детали красочного портрета намекают на связь героини с миром природы. «Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо — на месте не посидит... Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце — ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь» (с. 19). Многое роднит эту героиню и со сказочной царевной. Не только необыкновенная красота, но и чудесные помощники, выполняющие все ее распоряжения,— разноцветные ящерки. Живет она в прекрасном подземном дворце, куда можно попасть, только преодолев многие испытания, похожие на те, которые проходит и герой волшебной сказки. Отношения Медной горы Хозяйки с людьми определяются особыми условиями, так называемыми запретами. Одним из них был запрет женщине спускаться в шахту, во владения Хозяйки. Другой — не жениться молодцу, который хочет обрести ее покровительство. Не случайно рабочие побаивались Хозяйку, избегали встреч с нею. Вот как описывается встреча Степана с Хозяйкой: «Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей... «Вот,— думает парень,— беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила».

От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать» (с. 20). И только тот, кто мог согласиться на все условия Хозяйки или отважно противостоять ей, получал доступ в ее владения, возможность узнать тайны камнерезного искусства и стать «горным мастером». Творчеству народных умельцев, истинных художников принадлежит одно из важных мест в сказах Бажова. Неутомимый поиск характеризует мастера Данилу и его сына Митю, стремящихся раскрыть красоту камня, чтоб «сердце радовалось» у людей при взгляде на их работу. Непрост путь к овладению мастерством. Настоящему художнику неинтересно работать по бездушному барскому чертежу, вырезать узор, не считаясь со свойствами камня: «А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что тут они? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень!» (с. 62). Не приносит удовлетворения и копирование дурман-цветка. Трудный путь Данилы продолжает Митюнька, отданный, как и в свое время отец, в ученье к опытному мастеру. «Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему» (с. 85). Успех приносит тонкая ювелирная обработка простого материала — змеевика да шлака. Не застывшая, а живая красота «хрупкой веточки» передана в его изделии: «В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись» (с. 87). Но не всем дано оценить мастерство умельца. Для барина главное — «сколько камни стоят». Узнав, что недорог материал, разгневанный барин раздавил и в пыль растоптал Митину «дорогую выдумку». Как и Данила, исчез Митя: «Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающи, те узнавали ее» (с. 89).

Есть в сказах Бажова и другие герои — бунтари и правдолюбы. Они тоже попадали во владения Хозяйки. Сказ «Две ящерки» повествует о том, как благодаря труду крепостных мастеровых разбогател предприимчивый барин Турчанинов, первый владелец Сысертских заводов. Рабочим жилось «чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало» (с. 104). Когда подручный медеплавильного цеха Андрюха за выступ-

ления против барина был посажен в гору на цепь на самые тяжелые рудничные работы, Хозяйка спасла его от верной смерти, укрыв в своих владениях. Но тянет Андрея назад, из подземного царства, и Хозяйка отпускает его: «Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как все устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка и говорит:

— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдешь. О еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь,— заслужил. Выведет тебя дорога куда надо» (с. 113). Иногда и сама Хозяйка вершит суд над притеснителями народа. Она обратила лютого приказчика Северьяна в пустую породу («Приказчиковы подошвы»).

Историческое прошлое Урала вплетается в сказы Бажова не только эпизодами освоения горных богатств, постройки и расширения заводов, все более сильного закрепощения народа и появления в его среде отдельных смельчаков, народных мстителей, подобных Андрюхе Соленому. В них отразились и другие важные события России XVII—XVIII веков. Поэтическая история «Ермаковы лебеди» дает уральскую версию предания о покорении Сибири Ермаком. Она насыщена местными поверьями, одно из них — о неприкосновенности лебедей, якобы когда-то указавших богатые ископаемыми места.

В сказе «Кошачьи уши» речь идет о Пугачевском движении на Урале. Как ни пытались заводовладельцы изолировать рабочих от внешнего мира, узнали они о восстании благодаря смелой девушке Дуняхе-птахе, пробравшейся через кордоны и и принесшей весть о борьбе за свободу. И вот уже целыми группами, ватагами поднимаются рабочие на открытую борьбу с угнетателями. Если Андрюха «насолил» Турчанинову тем, что заморозил печи в медеплавильне и приостановил выплавку меди, то Матвей и Дуняха организуют набеги на рудники, сами расправляются с притеснителями народа — управляющим, приказчиком, заводским начальством. По народным преданиям местами укрытия, обитания ватаг и одновременно сигнальными пунктами повстанцев были Азов-гора и Думная гора. «Азов-гора на Среднем Урале, километрах в 70 к юго-западу от Свердловска, высота 564 метра. Гора покрыта лесом; на вершине большой камень, с которого хорошо видны окрестности

(километров на 25—30). В горе есть пещера с обвалившимся входом... По большой дороге на Сибирь шло много «беглых», которые, «сбившись в ватаги», становились «вольными людьми». Эти «вольные люди» нередко нападали на «воеводские пересылки и на купеческие обозы».

В сказах об Азов-горе говорилось, что «вольные люди» сторожили дорогу с двух вершин: Азова и Думной горы, устраивая здесь своего рода ловушку. Пропустят обоз или отряд мимо одной горы и огнями дадут знать на другую, чтоб там готовились к нападению, а сами заходят с тыла. Захваченное складывалось в пещере Азов-горы», (Бажов, II, 315) — эти сведения Бажов тщательно собрал, проверил и поместил в сборнике в качестве пояснений к сказам.

Народ всегда приписывал своим любимым героям особую удачливость и неуязвимость от пуль, а иногда и бессмертие. Следует этому и Бажов. Чудесные силы природы, не только Хозяйка Медной горы, но и волшебная кошка с горящими ушами, как в сказке, помогает смельчакам. «Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз, да она, видно, на это счастливая уродилась, а в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают, и Дуняхи не видно станет» (с. 167).

Но та же волшебная кошка губит незадачливого добытчика, барского прихвостня Ваньку Сочня. Посмеялась над ним и Хозяйка Медной горы, пообещав, что он «на всю жизнь будет доволен» ее подарком. «Наградил» его приказчик из своих рук зуботычиной, а «от казны» прибавили розгами, после того как зеленые камешки обратились в прах в руках барина. Не помогают чудесные помощники ни Яшке Зорко, ни Кузьке Двоерылко, жадным и корыстным людям. Все их усилия овладеть секретами добычи горных богатств, найти «ходок» или «травяную западенку» тщетны. Неспроста, видно, сказы-то были «тайными»! Их хранили в тайне от барских прислужников, передавали из поколения в поколение только в семьях потомственных рабочих.

В другой группе сказов «Жабреев ходок», «Золотые дайки» нашли отражение поверья старателей-золотоискателей о Великом Полозе, владельце и хранителе золотых жил, золотых кладов. Не умея объяснить местонахождение и расположение природных богатств, в особенности золота, его форму —

от крупинок до больших самородков-«лапотков», люди населили подземное царство, кроме Хозяйки, живущей в горах, другими могущественными существами. В сказах Бажова владыкой сокровищ является Золотой Полоз, отец золотокосой дочери по имени Золотой Волос. Башкирский охотник Айлып, увидав ее однажды, потерял покой: «Глядит, а за кустом на белом камешке девица сидит красоты невиданной, неслыханной, косу через плечо перекинула и по воде конец пустила. А коса-то у ней золотая и длиной десять сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят» (с. 279).

Другими чудесными персонажами, связанными с золотыми месторождениями, являются Огневушка-поскакушка и бабка Синюшка, способная девицей обернуться. К таким же персонажам принадлежит и козлик Серебряное копытце, и чудесные мураши (муравьи), и голубая змейка. Эти сказы Бажова ближе сказкам, он и сам их так иногда называл. В этих сказах золото и дорогие камни часто открываются детям, в особенности сиротам, обездоленным, тем, кому издавна сочувствует народная сказка. Вспомним падчерицу, Золушку, Крошечку-Хаврошечку. Обаятельны образы ребятишек — маленькой Даренки с кошкой Муренкой, мальчуганов Ланко-Пужанко и Лейко Шапочки, сирот Дениски и Федюньки, братьев Пантелея и Кости. Дети бескорыстны, им свойственны любознательность, стремление увидеть невиданное, узнать новое и неведомое, испытать свои силы, приобщиться к труду. С достоинством отвечает Дениска испытавшему его Жабрею: «Милостину не собираю. Вырос — свой хлеб ем». Когда же раззадоренный его упорством Жабрей бросил ему под ноги золотой самородок, Дениска «поглядел только да сказал: «Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо» (с. 194). Подросший Денис отправляется по следам Жабрея на добычу золота. Путь ему указывают муравьи-мураши. Подвели они его к ходку — два камня лежат — ни дать ни взять — губы. Старателю нужны и смелость, и смекалка, умение не только найти, но и добыть: «Денис живо привесился, очистил место и давай из песка золотые лапотки выковыривать. Много нарыл и больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стает, губы закрываются. Денис и смекает:

«Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите на помин, а другую себе — и хватит». Наду-

мался так — губы и раскрылись — выходи, дескать. С каелкой по какому хочешь, скату вылезти просто» (с. 198).

И в сказе «Голубая змейка» волшебница Змейка помогает ребятишкам не только добыть золото, но понять мудрые законы справедливости, взаимной выручки и поддержки. Доброта и бескорыстие в сказах, как и в сказках, всегда вознаграждаются.

Произведения Павла Петровича Бажова, основанные на фольклоре, общенародные по содержанию, гуманные по идеям, глубоко народны и по языку, и по стилю. Положительные герои фольклора, добрый молодец и красная девица, должны быть обязательно красивы, а красота их описывается в соответствии с представлениями народа. Сходные красочные описания находим в сказах Бажова: «Глаза звездой, брови дугой, губы — малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя».

Часто встречаются в сказах образные сравнения, присущие народным поэтическим произведениям: «чисто лиса, так и метет, так и метет хвостом» — говорится о хитром человеке; «клюнул, как язь на колобок» — о завистливом. В фольклоре люди, предметы получают краткие образные определения при помощи постоянных эпитетов. Прибегает к этому приему и П. П. Бажов. Постоянные эпитеты в его произведениях характеризуют людей, их родственные отношения: братцы милые, сестрицы любезные, задушевные подруженьки, родимый батюшка, матушка-голубушка, папенька родимый. Определяются окружающие человека явления, природа: белый свет, красота неописанная, престрашный змей, темная ночка, лес густой. В народной речи подслушал писатель и такие характерные обороты, как «он и ухом не повел» (не обратил внимания), «поперек слова не молвит» (не будет спорить, возражать), «им и горюшка мало», «Костьке это нож вострый» и другие. Русскому языку свойственны своеобразные повторы, употребляет их и Бажов: лишился сна-покою, рад-радехонек, слыхом не слыхали, один-одинешенек. Все это придает красочность и выразительность языку писателя.

Не одно поколение читателей радовали и увлекали сказы Павла Петровича Бажова. И жизнь им предстоит долгая-предолгая.

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то. День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумешках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-то молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой,— ровно его кто под бок толкнул,— проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками за-

машет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать — лопочет, что-то, а по-каковски — неизвестно, и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.

А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот,— думает парень,— беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда,— говорит,— мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошел и видит — ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеется.

— Не расступи,— говорит,— мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленьки.— А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место,— как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная. Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже.

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно,— отвечает малахитница.— Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи, да, смотри, не забудь слов-то:

«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душнóму козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, душнóму козлу, с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул вгорячах.

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно,— кричит,— потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще,— и верно,— душнóй был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душнóму козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный али ума решился? Какая хозяйка! Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя,— говорит Степан,— а только так мне велено.

— Выпороть его,— кричит приказчик,— да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель руднишный,— тоже собака не последняя,— отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то,— и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все-таки проворный был. Глядит — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот,— думает,— хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец,— говорит,— Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душнóго козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы на отбор малахит был, шелкового сорту.— Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна-медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше,— говорит,— на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромадную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки — все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны.

— Посидим,— говорит,— тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал,— говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты,— говорит,— друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец,— говорит,— Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку.— А у парня, верно, невесту-то Настей звали.— Вот,— говорит,— тебе подарочек для твоей невесты,— и подает большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же,— спрашивает парень,— я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.— На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь.— И подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая и трясется маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне идти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне,— опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзирательруднишный подошел. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт сортом. «Что,— думает,— за штука! Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все, да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает.— И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то,— скажи на милость, ничего доброго нет, все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе,— говорит,— Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто,— говорит,— его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся — вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что,— говорит,— даю тебе свое дворянское слово от-

пустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из них вырубить столбы не меньше пяти сажен длиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На,— говорит,— только старайся смотри.

А Степан все свое:

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало, много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то, да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди

первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

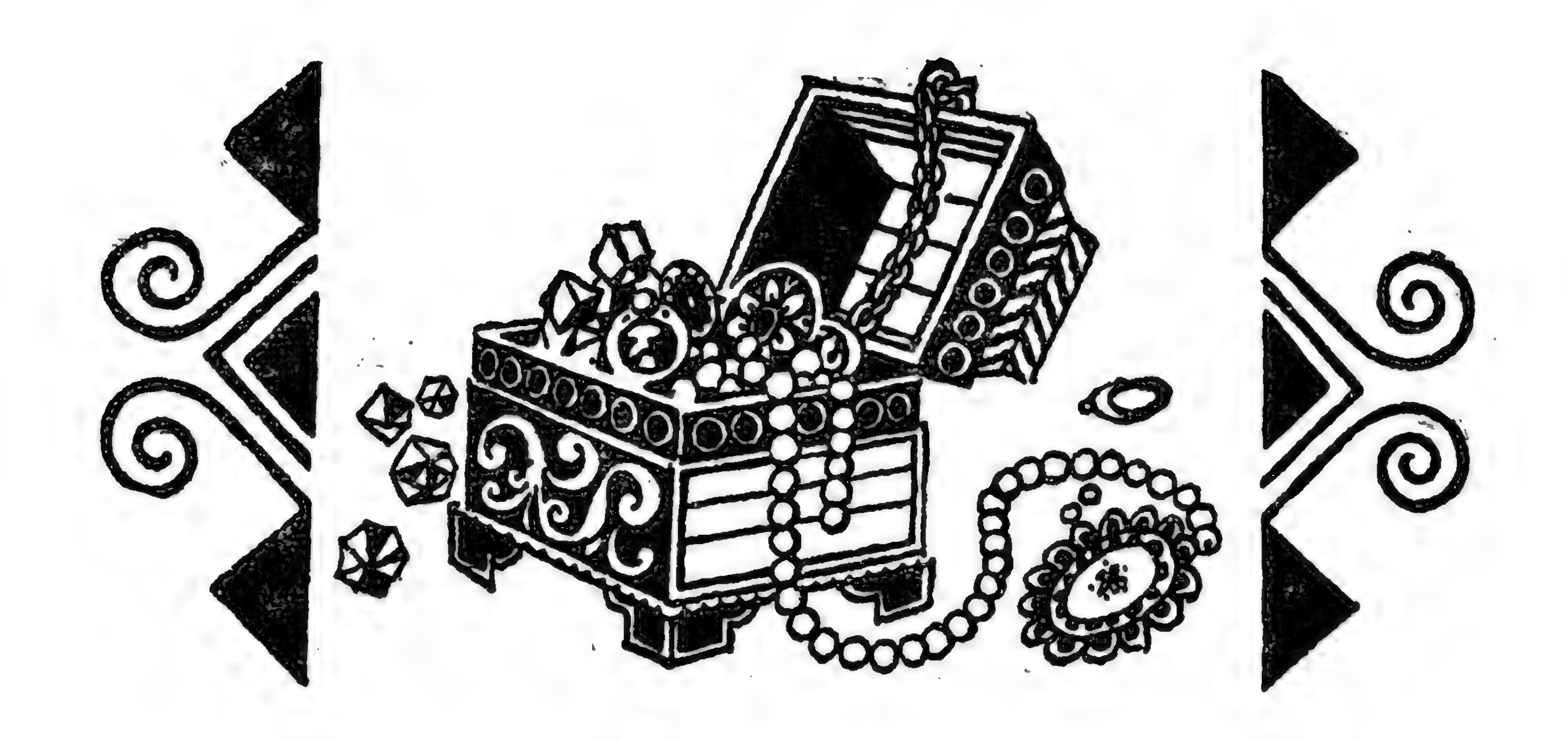
— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая, Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.



МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, ученый был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно,— говорит,— поберегу на черный день.— И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья — баба в соку да с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, что́ ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихо-

во подаренье, мужнина память. А пуще того девчонка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое ребятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненькая да басенька, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходилось. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал. «Ну-ка ты, Памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки и те любовались. Ну как — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленька, а девчоночка,— с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Не-

спроста это. Ой, неспроста!»— да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот знай стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался ма-

ленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:

«Пустяшное дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто. А сама думает:

«Оберегать-то ее все-таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Оглянулась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает»,— а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придет — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось,— а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая, и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ножиньки не несут, а идти не близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все-таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь поди и с собой не унесешь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь неочесливая! Приветить ее не успели, а она на-ко — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку.

— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-от на это будет.

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу,— говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то поди-ко денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка,— говорит странница.— Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что, Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещенное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть,— говорит,— у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу,— говорит,— когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка,— не того слова,— стала надевать, а та знай похваливает:

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди и, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают.

Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышько, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?

— А это,— говорит,— царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все-таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток.

Бежит как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в Христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глазы тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-ду-

маю так-то, и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать так продавать.— И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят — робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душно́го козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареный Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: па-роть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все-таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

— Чем,— говорит,— тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит поди на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно,— говорит,— об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

— Не желаю,— шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем, али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы

Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось худу-то бы не взял барин. Тоже поди выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала — шкатулку продают. «Дай-ко, думает, посмотрю, может, всамделе стоящее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!

— Ну-ко,— говорит,— милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, думает, такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько,— спрашивает,— просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас,— говорит,— такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина,— живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала,— отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты,— кричат,— ума решилась али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь? — И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это,— говорит,— вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась.

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут,— отвечает Настасья.— Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь,— говорит Паротина баба.— Найду я мéстичко этим каменьям.— А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх — либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новокупку все-таки охота. Ну как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила.— Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить! А она думает:

«Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже.

— Не возьмусь,— говорит,— что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурха привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В котором месте живет?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала. Паротя и говорит:

— Поглядеть бы.

А у запивох и заделье нашлось.

— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью, — и работу свою показала.

— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.

— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны, — говорит, — мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увести. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя знай похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь,

барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон и говорят. Насчет платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин, как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего, — принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посередине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все-таки нашел разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.

— Мои теперь, — похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это, — отвечает Танюшка, — можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы,— привычно дело, и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась.

— Не под стать бы ровно барину такое говорить. — Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.

— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петербурхе будешь?

— К покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала, — тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

— Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да смотри не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает, — откуда у ней лошади! Где платье дворцовское? — а спрашивать все-таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком да еще в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая? Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста, — говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела.

— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова-барина:

— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла

по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что, дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и Паротина жена: поди-ко получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

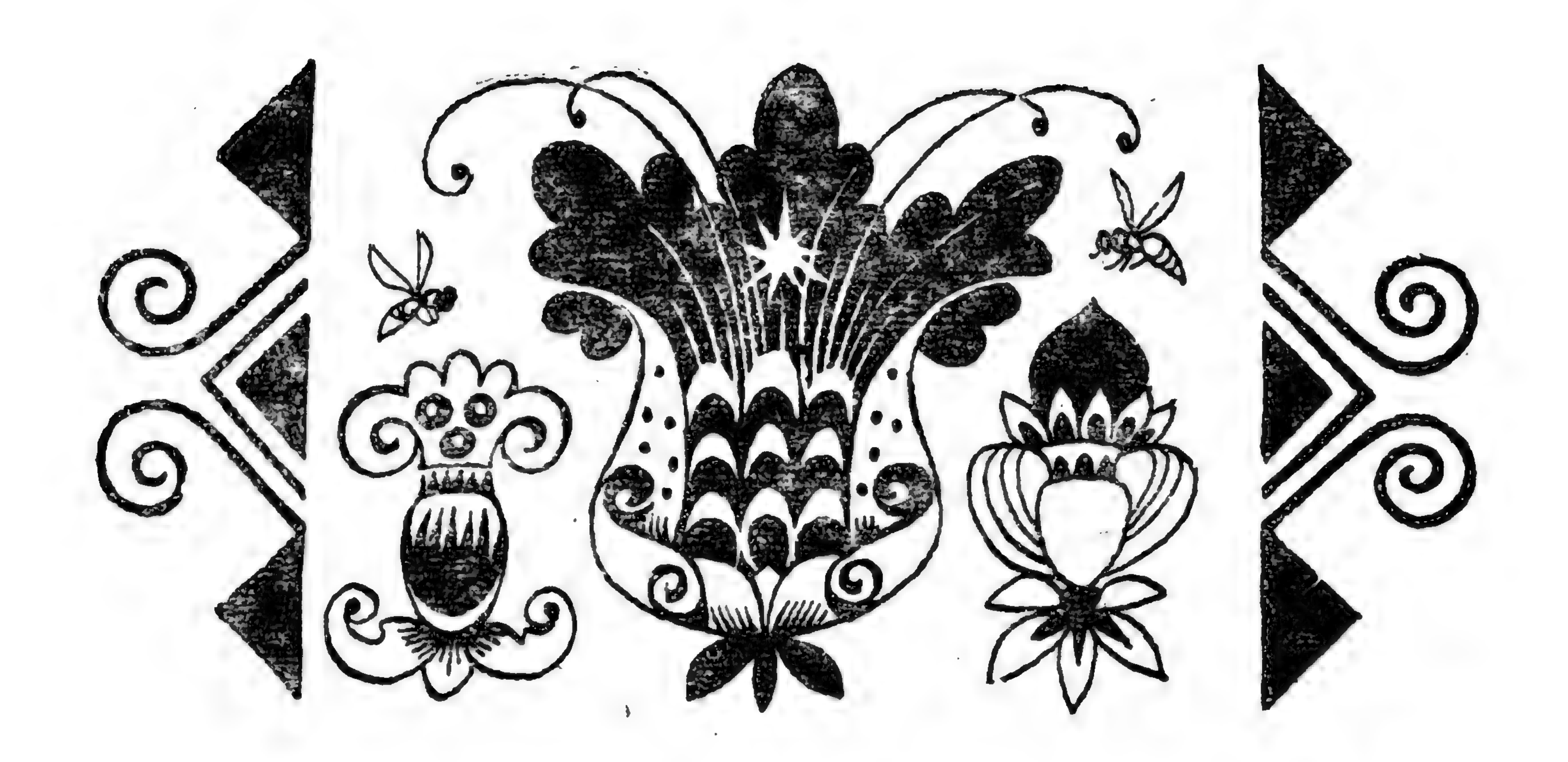
И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож так не гож... Другого дадим... — И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это

мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все-таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

Прокопьич знай свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтоб Прокопьич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов поди тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких местах-то вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули.

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все-таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты

себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни всё незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.

— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все-таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы капают, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?

— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На Змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.

Прокопьич поглядел на него, да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопьич к приказчику.

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал.

— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он, — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий это парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.

Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штучку испортили, — отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьич знай покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь.— А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское— про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то—не руками, — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей с находу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все-таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не может: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит.

Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл.

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома, да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был,

а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я...» — Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо.

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.

Тот видит — неладное дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на

все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слезы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит.

Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все-таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко знай головой потряхивает.

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только:

«Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит.

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал.

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем чего новенького, — и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас поди-ка хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чу-

жое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитову камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим, и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говорил:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.

— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась.

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул.

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился он на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это молвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Пооглядел еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что, думает, за штука? Неуж *сама?* А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести — и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся — чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торо-

пить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли в последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего? — и про камень припомнил: — Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет».

Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла, — отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы, и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то,— кричат,— проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта, Катя, видно, пригожая была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ко я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопьич поди-ко мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему это по душе пришлось.

— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопьичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопьичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхал.

Ну, она все-таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.

Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в горе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить станет.

— Не боюсь, —отвечает, — этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не ровен час — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп. Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить, на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы, да и от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку, да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, — она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, — ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась:

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько блямшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа небыстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали.

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула дверь и кричит:

— Заходи, не то. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты, — говорят, — без шуток!

— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала:

«Выйдет ли у меня у одной-то?»

Ну, все-таки с собой совладала:

«Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город:

«Спрошу там, будут ли напредки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин,

который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот поди настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я,— отвечает,— от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?

— Нет, — отвечает, — моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется, — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся — в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится:

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. — Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и подумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает:

«Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему

так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду,— версты поди за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя — он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, — и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче. Туда солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету невзвидела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.

Идти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает:

«Повидала все-таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому

времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился — посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги.

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную, — отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай сторожить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

—Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сестры руками машут.

— И впрямь рехнулась. Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне, — видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а

снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят, — Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает: «Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой:

— Там не видно?

А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила, да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его! Нет его!» Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать!

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась:

— Данилушко!

— Подожди, — говорит Хозяйка, — и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются:

— Там не видно?

Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел. Кате вон только сказался.

— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?

— Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое поди случалось. О чем говорить.

Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, — о чем, да помалкивала.

ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

У Данилы с Катей, — это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, — ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец знай похохатывает:

— Такое, видно, наше с тобой положенье.

Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятишки, — я так замечал, — злые выходят при таком-то случае, а этот ничего — веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушали его да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?

Отец с матерью и те частенько покрикивали:

— Митюшка! Погляди-ка! Ладно на твой глаз?

— Митяйко, не приметил, куда я воробы поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не

куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора поди Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлись.

Свою, вишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожнешки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

— Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.

А это все Митюнька — главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай, — говорит, — подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье — рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать, — он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал, знай слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое робятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал небось. Лошади вишь, отменные, кучер по форме, ко-

ляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох!

Потом, видно, провздыхался и заревел медведем:

— Это что? А? — А сам палкой на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает.

Тот заладил свое, недоладом орет:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел, да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин не твердого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали, — может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел.

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

— А ты, — кричит, — не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несуразица, и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, — не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки ни отбивался Данило, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а робятам хуже всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал — сам так и лезет в работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают:

«И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведется. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить — пыли не продохнешь, щебенку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит».

Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.

Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал — парнишечко смышленый и к работе не ленив.

Гранильщик этот так себе, средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на все установ имелся. Черну, ска-

жем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких шерловых шаричков клеили. Однем словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил:

— Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько, да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Еще посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая. Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет,— один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а все в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожнешек вышло.

Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, струментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:

«Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших ребятишек можно было бы к этому делу пристроить».

Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не вовсе годится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе больше никого нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого матерьяла, а сам все о том же думает:

«Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?»

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука, — с кольцом на пальце и в зарукавье, — и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наважденье какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодные веточки: черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а это откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему милее пришелся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила:

«Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло! Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да еще где надо желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонехонькие пристроить. Однем словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся:

— Еще на смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестов с наказом:

— Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней делано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера все поворотил:

— Это он, шельмец, мне подсунул да еще насказал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел.

Барин знай хрипит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху и, понимаешь, узнал ведь его барин:

«Это тот... в сапогах-то который...»

С палкой на Митюху кинулся.

— Как ты смел?

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрипит:

— Я тебе покажу...

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, — кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели, — Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее.

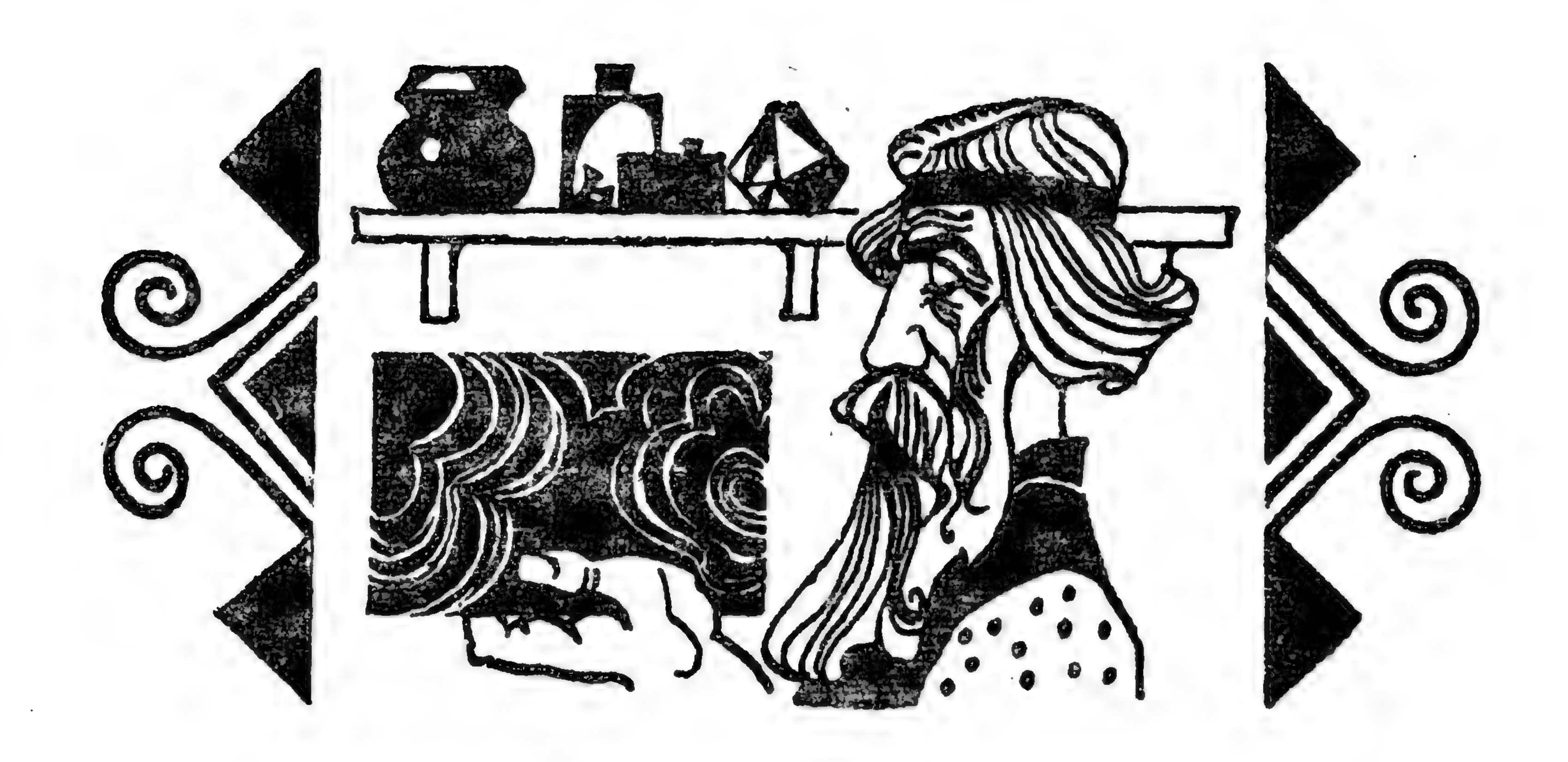
И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялася, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему, что ее найти легче, потому — далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей ее наступали:

— Указывай место!

А толку все-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели, — отступили. А барин еще сколько-то задыхался, все-таки вскорости его жиром задавило.



ЖЕЛЕЗКОВЫ ПОКРЫШКИ

Дело это было вскорости после пятого году. Перед тем как войне с немцами начаться.

В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да тоже нечасто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупать. А контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило: что найдут, то и уплывет за границу.

Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает: над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешевкой торговали. Так пустой камешок на немецкий лад гнали: было бы пестренько да оправа с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи. Кончил поделку, покурил да сплюнул и принимайся за другую. Одно слово, пустяковина, базарский товар. Глядеть тошно, кто в том деле понимает.

Ну, все-таки старики, коих смолоду малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то: и камешок добывали и покупателя с понятием находили.

Один такой в нашем заводе жил. Евлахой Железком его звали. Еще слух шел, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали.

Вот будто подошел какой-то большой царицын праздник. Не просто именины али родины, а, сказать по-теперешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее.

У царей, известно, положение было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить — один поставщик волокет, закусить придумал — другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей. В своем деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным камням содержал, на обе столицы широкую торговлю вел, и мастера у него были первостатейные.

Призывает этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивление. Фабержей, понятно, кланяется да приговаривает: «Будет сготовлено», а сам думает: «Вот так загвоздка!»

Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить, только тут дело вышло не простое. Брильянтами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнехонек сундук набит, и камни самого высокого сорту. Тонкой гранью либо узором тоже не проймешь, потому — люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после пятого году камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередило. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали, как она с царем кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему, а только с пятого году к царице с красным камнем и не подходи — во всю голову завизжит, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше известно, спросы, да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были? Тоже кому охота в такое дело вляпаться!

Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить и чтоб красненького в подарке и званья не было. Ду-

мал-думал, пошел со своими мастерами посоветоваться. Обсказал начистоту и спрашивает:

— Как располагаете?

Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит:

— На мое понятие, тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы: самому вислоносому дураку покажи, и тому весело станет.

Хозяин, конечно, оговорил старика: не к чему, дескать, о вислоносых дураках поминать, коли разговор идет о царском подарке, за это и подтянуть могут, а насчет камня согласился:

— Верно говоришь. Малахит, пожалуй, к такому случаю подойдет.

Другие мастера сомневаются:

— Не найдешь по нынешним временам доброго камня.

Ну, хозяин на деньги обнадежился.

— Коли, — говорит, — в цене не постоять, так любой камешок достать можно.

На этом и сговорились: будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, какие полагаются, тут же придумали.

Сказано — сделано. В тот же день Фабержей своего доверенного в наши края послал и наказ ему дал:

— Денег не жалей. Только бы камень настоящий и спокойного цвету!

Приехал этот Фабержеев доверенный и давай искаться. Первым делом, конечно, на Гумешки. Тамошние камнерезы наотрез отказали — нету доброго камня. В Тагил сунулся — есть кусочки, да не того сорту. В заграничной конторе через подставного человека наведался. Только разве там продадут, коли сами крохами собирали. Совсем приуныл доверенный, да, спасибо, один горщик надоумил:

— Поезжай-ко ты к Евлахе Железку. У этого беспременно камень имеется. Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, што все здешние купцы по каменному делу да и в заграничной конторе неделю кулаками махали, ногами топали да грозились:

— После этого пусть Евлаха со своей поделкой и на глаза не показывается. За пятак не примем!

А Евлаха посмеивается да ответный поклончик послал:

— Рад стараться с жульем не вязаться. Теперь еще поди-ко не забыл, как таким кланяться доводилось. Больше этого не будет. Кому надо, пускай сам ко мне за камешком волокется, а я еще погляжу — кому удружить, кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остарел, а еще так могу по загривку дать, что который и с каменной десятипудовой совестью, а легкой пташкой за ворота вылетит.

Фабержеев доверенный, как услышал это, забеспокоился, спрашивает:

— Видно, этот Евлаха в деньгах не нуждается? Богатый сильно?

— Нет,— отвечают,— богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублем не сманишь, а коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.

Доверенному полегче стало. «Есть, — думает, — чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются». И не ошибся в расчете. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился, спросил только:

— Какой величины камни и какой узор надо?

Доверенный объяснил, что крышки по дольнику должны быть не меньше двух четвертей, поперек — четверть с малым походом, а камни желательно со *своим* узором. С таким, значит, чтоб на обои ничуть не походило.

Евлаха говорит:

— Ладно. Найдется такой камень. Приезжай через неделю

И цену назначил — по две сотни за штуку. Доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел еще поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был, сразу обрезал:

— Сказал — приезжай через неделю, тогда и разговор будет, а то о чем нам у пустого места судить.

Приехал доверенный через неделю — готовы крышки, и не две, а четыре штуки. Все, понимаешь, как вешняя трава под солнышком, когда ветерок ее колышет. Так волны по зелени-то и ходят. И у каждой крышки свой узор. Ни один завиток-плетешок полной сходственности не имеет, а все-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, какие крышки парой приходятся. Однем словом, мастерство.

Разложил Евлаха свою поделку.

— Выбирай любую пару!

Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашел никакого изъяну, полюбовался узором и говорит:

— Покупаю все.

— Что ж, — отвечает, — бери, коли надо. Плати деньги.

Доверенный поскорее рассчитался по уговору — и домой. Мастера Фабержеевы похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчет малахиту, посомневался маленько.

— Вроде, — говорит, — деланный камень, а не натурный. Ну, руками делан.

Другие мастера засмеялись — выдумывает старик, хочет себя выше всех поставить, а хозяин прямо объявил:

— Ежели и деланный, так не хуже настоящего, а это в мастерстве еще дороже.

Ну вот, изготовили альбом на удивленье. Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил до его приказу эти крышки в ход пускать. Так они и лежали у Фабержея в запасе и долежали до того году, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по брильянтовой плавке отличался. Петергофским мастерам по гранильному и камнерезному делу да и Фабержеевым тоже охота была этого приезжего кое о чем поспрошать. Вот они ходили за ним, все едино, как женихи за невестой, угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер Евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул, да и говорит в том смысле:

— Ловко, дескать, вашим-то! Режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит.

Наши мастера объясняют, что дело не столь просто, потому — камень из кусочков складывают.

— Про это, — отвечает, — знаю. Дело, конечно, мешкотное, а все-таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узору камешок имеется.

Один мастер на это возьми и скажи:

— У нас на фабрике насчет этих крышек еще спор был: из природного они камня али из сделанного.

Французского мастера такими словами будто подстегнуло: всю степенность потерял, забегал, засуетился, спрашивает: кто так говорил? почему? какие приметки сказывал? чем дело решилось? А пуще того добивался, где тот мастер живет, который крышки делал. Дивился, понятно, что никто об этом толком сказать не умеет. Одно говорят — доверенный привез с какого-то заводу. Сказывал, что мастер мужик с пружинкой: не по месту заденешь, так и по лбу стукнуть может, а как прозванье мастеру — не говорил. Надо, дескать, у этого доверенного и спросить, только он в отлучке по хозяйским делам.

На другой день приезжий мастер прибежал к Фабержею на фабрику и давай опять про крышки спрашивать. Старый малахитчик не потаился, сказал, в чем сумленье поимел. Другие мастера опять заспорили, всяк свое доказать желает. Тут сам Фабержей прибежал, послушал, пострекотал с приезжим по своему, по-французскому, и велел принести запасные крышки.

— Чем, — говорит, — попусту время терять, давай-ко отпилим у крышек правые уголышки, которые на волю, да опробуем их как следует. Крышкам от того изъяну не будет, потому как можно на тех местах закругленье дать либо их украшеньем прикрыть, зато в точности узнаем, какой это камень: природный али сделанный?

Живо отпилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на разлом, по весу. Однем словом, всяко старались, а до дела не дошли. Нато вышло, что состав малахитовый, а полностью сходства нет. К тому все-таки склонились — не зря старик малахитчик сомневался: что-то не так.

Французский мастер в этом деле больше всех старался и книжки какие-то притащил, по ним глядел. А как вышло это решенье, что камень сделанный, сейчас в контору побежал. Там, дескать, беспременно фамилия мастера должна быть. В конторе, верно, расписка оказалась: получено-де за четыре малахитовые доски такой-то меры две тысячи рублей и крючок вроде подписи поставлен, даром что Евлаха грамоте не разумел, а ниже писарь подписался, и волостною печатью шлепнуто. Доверенный, известно, по правилу воровал: Евлахе заплатил восемь сотен, писарю сунул одну либо две, остаток себе в карман.

Послали этому доверенному телеграмму, чтоб полное имя и местожительство мастера дал, который крышки на царский

альбом делал. Доверенный, видно, испугался, не открылось ли мошенство, — не отвечает. Другую телеграмму послали, третью — все молчит. Тогда хозяин сам ему строгое письмо написал, дескать, что это такое? Как ты смеешь меня перед приезжим гостем конфузить? Тогда уж доверенный отписал — завод такой-то, мастера там все знают, а как его полное имя — не упомнит, заводские больше зовут его Евлахой.

Как получили это письмо, француз живенько собрался — и на поезд. Из городу прикатил на тройке, остановился на ямской квартире и первым делом спрашивает, где мастер по малахиту живет. Ему сразу сказали — в Пеньковке, пятые или там девятые ворота от большого заулка направо.

На другой день этот приезжий пошел, куда ему сказывали. Одежа, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента на ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали. Ребята, понятно, сбежались, дивятся на этого барина в белой шляпе.

Вот дошел француз до Пеньковки. Видит — улица не из тех, где добрые дома стоят. Посомневался, спрашивает:

— Где тут мастер живет, который по малахиту работает?

Ребята рады стараться, наперебой кричат, пальцами показывают — вон-де в той избе дедушко Евлампий проживает.

Француз поглядел, вроде как удивился, все-таки в ограду зашел. Видит — на крылечке сидит старик: из себя рослый, на лицо тончавый и похоже — хворый. Седая борода лопатою, и маленько она зеленым отливает. Одет, конечно, по-домашнему: в тиковых подштанниках, в калошах на босу ногу, а поверх рубахи жилеточка старенька, вся в пятнах от кислоты.

Сидит этот старик и ножичком вырезывает из сосновой коры что-то, а парнишко, видно внучонок, наговаривает:

— Ты, дедо, сделай, чтобы лучше Митюнькиного наплавочек был. Ладно?

Домашние, какие в ограде на то время случились, забеспокоились, а Евлаха сидит себе, будто его дело не касается. У него, видишь, повадки не было перед городскими заказчиками лебезить, в строгости их держал.

Заграничный мастер постоял у ворот, пооглядедся, подошел ко крылечку, снял свою белую шляпу и спрашивает по всей французской вежливости.

Дескать, дозвольте спросить, можно ли видеть каспадин мастер Ефляк, который делает из малякит.

Евлаха слышит по разговору — чужеземный какой-то пришел, и говорит дружественно:

— Гляди, коли надобность имеется. Я вот и есть мастер по малахиту. На весь завод один остался. Старики, видишь, поумирали, а молодые еще не дошли. Только, конечно, меня не Фляком зовут, попросту Евлампий Петрович, прозваньем Железко, а по книгам пишусь Медведев.

Француз, конечно, понял с пятого на десятое, а все-таки головой замотал, перчатку зеленую сдернул, здоровается с Евлахой за руку, а сам наговаривает в том смысле, что напредки, дескать, будем знакомы. Простите-извините, не знал, как назвать, звеличать. И про себя тоже объяснил, что он мастер по брильянтовому делу.

Евлаха похвалил это.

— Что ж, — говорит, — камешок ничем не похаешь. Недаром он самой высокой цены, потому — глаз веселит. Известно, всякому камню свое дано. Наш вон много дешевле, а в сердце весну делает, радость человеку дает.

Француз опять головой мотает и по-своему лепечет: рад-де побеседовать. Нарочно для того из французской стороны приехал. А Евлаха пошутил:

— Милости просим, коли с добрым словом, а ежели с худым, так ворота у меня не заперты, выйти свободно.

Повел Евлаха приезжего в избу. Велел снохе самоварчик сгоношить, полштофа на стол поставил. Однем словом, принял гостя по-хорошему. Побалакали они тут, только заграничный мастер ту линию гнет, чтобы мастерскую у Евлахи поглядеть. Евлахе это подозрительно показалось, только он виду не подал и говорит:

— Отчего не поглядеть? Не фальшивы монетки поди-ко делаю. Поглядеть можно.

Ну вот. Повел Евлаха приезжего мастера на огород. Там у него малуха была. Избушка, известно, небольшая. Дверцы хоть широконькие, а без наклону не пройдешь. Ну, француза это не держит: не боится свою белую шляпу замарать, вперед хозяина лезет. Евлахе это не поглянулось:

«Вишь, скачет! Думает — так ему и скажу!»

В малухе, как полагается, станок с кругами, печка-желе-

зянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеяный и протча. Французский мастер оглядел все, рукой опробовал и, видать, чего-то найти не может, а Евлаха навстречу ему усмехается:

— Цементу нет. Не употребляем.

Посовался-посовался французский мастер, видит, на глаз дела не понять, а Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит:

— Вот погляди, барин, что из этой грязи делаю.

Французский мастер стал досочки перебирать и видит: все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит, а Евлаха усмехается:

— Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца-краю той красоте не видится.

Приезжий тут давай доспрашиваться, как составлять камень. Ну, Евлаха на это не пошел, пустыми словами загородился.

— Составы, дескать, разные бывают. Когда одного больше берешь, когда другого. Иное спекаешь, иное свариваешь, а которое и просто смешать можно.

— Каким, — спрашивает, — инструментом работаете?

А Евлаха и отвечает:

— Инструмент известный — руки.

Заграничный на это головой заболтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал:

— Волшебные руки, Ефляк Петрош! Волшебные руки!

— Волшебства, — отвечает, — нет, а не жалуюсь.

Заграничный мастер видит — ни хитростью, ни лаской не возьмешь, вынимает из кармана два петровских билета, тысячу, значит, рублей, кладет на верстак и говорит:

— Плачу тысячу, если все по совести расскажешь, а коли научишь натурально, еще столько доплачиваю.

Евлаха поглядел на петровский портрет и говорит:

— Хороший государь был! Не чета протчим, а только он тому не учил, чтоб мы нутром своим торговали. Бери-ко, барин, свои деньги да ступай откуда пришел.

Тот, конечно, завертелся — что такое? В чем обида?

Ну, Железко тут свой характер показал, отчитал гостя.

— Эх, ты, — говорит, — белошляпый, а еще мастером называешься! Скажи тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки кому хочешь продашь... Харчок в золотой оправе станешь за малахит по пятишке продавать. Понимаешь это? Харчок за наш родной камень, в коем радость земли собрана. Да никогда этого не будет! Нам самим этот камешок пригодится. Не то что покрышки на царской альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаться будут, чтобы хоть глазком поглядеть. И будет это наша работа! Вот такими же руками делана!

Так заграничный мастер и ушел от Железки ни с чем. А крышки от Фабержея все-таки увез. Через свое начальство улестил царя, чтоб подарок такой сделали.

А Железко умер уж в гражданскую войну. Тогда еще которые сомневались, как да что будет, а Железко одно говорил:

— Не беспокойтесь — рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье — тоже.

ДВЕ ЯЩЕРКИ

Нашу-то Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумешки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшний рудничишко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала к Турчанинову.

До того он — этот Турчанинов — солью промышлял да торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал: нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привышны, — у нас пойдет.

Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался.

«У немцев, — думают, — толку не вышло — на что такой завод? Убыток один».

Так Турчанинову наш завод и отдали да еще Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.

— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни...

Ну, ласковый язычок, — напел! Смолоду на этом деле, — поднаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите?

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумешки походили, руду тамошнюю поглядели, да и говорят прямо:

— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в этаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им все-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите, — говорят, — нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются, — за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтоб нашу хитрость с медью другие не знали.

Турчанинов, конечно, согласился, да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает:

«К руке мне это».

Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет, — что хошь с ними делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:

— Наберешь таких-то, с бору да с сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглые народ бывалый, — один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая, — не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир либо еще каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.

Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас и слыхом не слыхали, чтобы кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Однем словом, подогнано.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью пришлись. Он и давай наговаривать:

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите каких людей понадежнее, я их выкуплю либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поет, пляшет. Ну, обошел стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угодья всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то что для медного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Все едино как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышленый, видать.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем, — отвечает, — был.

— Это, по-нашему, что же будет?

— По-нашему, около пестов ходил, — руду толчи да сеять.

— Это, — говорит мастер, — дело малое — в стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?

— Нет, — отвечает, — не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твердое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратно мне говори, что полезное у немцев видел.

Так этого парня — Андрюхой его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.

Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумешки. По всей земле слава про них прошла. Народу, конечно, большое увеличенье сделалось, и все из тех краев, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подавай — находил место. Навидячу богател. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумешки на их землях приходятся

и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать, да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошел. С князьями да сенаторами попросту. Отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли!

Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их.

Сперва, как дело направлялось, мяконько похаживал перед этими мастерами:

— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегченье выйдет.

А какое облегченье? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да еще приговаривают:

— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!

Турчанинова тогда уже все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему — денег много, считать надо.

Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:

— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл поди, как с нами пировал? Обскажем ему начистоту.

Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.

— Барин, — говорят, — кофею напился и спать лег. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.

Народ зашумел:

— Какой такой сон не к месту пришел! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пущай к народу выходит!

На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборуженных сколько хошь. А подручный тот — Андрюха-то, человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:

— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?

— Как, — отвечает барин, — не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько. Память крепче будет.

Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал.

Только он, сказывают, страсть хитрый был, — не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъян своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров, кои побойчее да поразговорчивее, всех отхлестали, которые потиша, — тех не задел. Погрозил только им:

— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!

Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом глядят, — порухи бы не вышло. Только все-таки людей недохватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего — хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают еще над парнем. Соленым его прозвали. Он без обиды к этому. Когда и сам пошутит:

— Солено-то мяско крепче.

Ну вот, так и уверились в него, а он тогда исхитрился, да и посадил козлов сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал.

Его, конечно, схватили да в гору на цепь. Руднишные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат... Ну, никак...

Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть того крепче будь, не выдюжит. Кормежка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет — пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.

Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень тенью стал, — не с кого работу спрашивать.

Руднишный надзиратель и тот говорит:

— Погоди, скоро тебе облегченье выйдет. Тут в случае и закопаем, без хлопот.

Хоронить, значит, ладится, да и сам Андрюха видит — плохо дело. А молодой, — умирать неохота.

«Эх,— думает,— зря люди про Хозяйку горы сказывают, будто помогает она. Коли бы такая была, неуж мне не пособи-

ла бы? Видела поди, как человека в горе замордовали. Какая она хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».

Подумал так, да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему все равно — не чует. Конец пришел.

Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.

Лежит Андрюха, а в голове думка:

«Это мне перед смертью солнышко приснилось».

Только ему все жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава негустая и камешки мелконькие — плитнячок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.

Андрюха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то... Выходит — не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.

«Видно, — думает, — мертвяком меня выволокли, расковали, да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»

Огляделся и видит: у камня туесочек стоит, а на нем хлеб, ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел:

«Свои, значит, вытащили и за мертвого не считали. Вишь, хлеба поставили да еще с питьем! По потемкам поди навестить придут. Тогда все и узнаю».

Съел Андрюха хлеб до крошки, из туеска до капельки все выпил и подивился, — не разобрал, что за питье. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушел. Только и то думает:

«Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперед начальство набежит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы! Одежонку какую добыть!»

Однем словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумешки-то, и завод близко, даже людей видно, — как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало, — вдруг оттуда его тоже увидят.

Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зеленые. Одна побольше, другая поменьше.

Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зеленые-то не угомонились, всё друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались. Сунули головенки, — и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый, да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся.

«Хоть, — думает, — которую грязь смоет», — и ремки свои под дождик разостлал.

Прошел дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло, — у солнышка уж сила не та. Андрюха тут и подумал:

«Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».

Сам рукой и уперся в большой камень, с которого на завод и Гумешки глядел. Не то чтобы в силу уперся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.

«Что, — думает, — за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил».

Подошел все-таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушел. Уперся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала. Разве она пошевелится?

«Видно, у меня в голове круженье от нездоровья. Почудилось мне», — подумал Андрюха и сел опять на старое место.

Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головенкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерка пробежала до конца камня, да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает.

«Тут, дескать, выйдет. Некуда больше.»

Подождал маленько Андрюха, — опять по низу камня чутешная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то

конце из-под камня ящерка головенку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка, другая, и скок ей на хребетик — поймала, дескать! — и глазенками блестит, радуется. Потом обе убежали. Только их и видели. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить.

Оглядел еще раз камень. Целехонек он, даже званья нет, чтоб где тут трещинка была.

«Ну-ко, — думает, — попытаю еще раз».

Уперся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмыг вперед, как дорогу показывают. Спустился еще ступеньки на две, а сам все за камень держится, думает:

«Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потемках-то?»

Стоит, и обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул:

«Видно, Хозяйка горы смелость мою пытает. Это, говорят, у ней первое дело».

Ну, тут он и решился. Смело пошел и, как голова ниже щели пришлась, опустился рукой от камня. Закрылся камень, а внизу как солнышко взошло — все до капельки видно стало.

Глядит Андрюха, а перед ним двери створные каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли — в это, дескать, место. Андрюха отворил дверку, а там — баня. Честь честью устроена, только все каменное. Полок там, колода, ковшик и протча. Один веничек березовый. И жарко страсть — уши береги. Андрюха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одежи на спицах сколь хошь навешано. Всякая одежа: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрюха и думать не стал, залез на полок и отвел душеньку — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.

Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во

сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а по середке стол. Всякой еды и питья на нем наставлено. Ну, Андрюха уж давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питье не разберешь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питье, а не хмелит.

Наелся-напился Андрюха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящеркам поклонился.

— На угощенье, хозяюшки!

А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головенками помахивают:

«На здоровье, гостенек! На здоровье!»

Потом одна ящерка — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошел. Подбежала она ко кровати, остановилась — ложись, дескать, спать теперь. Кровать до того убранная, что и задеть-то ее боязно. Ну, все-таки Андрюха насмелился. Лег на кровать и сразу уснул. Тут и свет потух.

А на Гумешках тем временем руднишный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой, — жив ли прикованный, — а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:

— Куда девался? Как теперь быть?

Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится — самому отвечать придется. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился все-таки, — кое с боков подгреб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.

— И то, — говорит, — обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.

Надзиратель, конечно, поет:

— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная, руды настоящей давно нет, а мертвому не все ли равно, где лежать.

Руднишные видели, конечно, — подстроено тут, а молчали. «Отмаялся, — думают, — человек. Чем ему поможешь?»

Так начальство и барину сказало:

— Задавило, дескать, того, Соленого-то, который нарочно в печи козлов посадил.

Барин и тут свою выгоду не забыл:

— Это, — говорит, — его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать.

Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху-то узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:

— Хороший парень был. Немного таких осталось.

А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуще того. Выспался все-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.

Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился, да и говорит:

— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слез чихнул.

Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идет. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горушечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.

«Это, — думает, — мне и надо. Схожу по потемкам на рудник. Может, повидаю кого, узнаю, как у них там и в заводе что».

Пошел потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случаю не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко:

— Михайло! Иди-ко поближе.

Тот сперва пошел на голос, потом остановился, спрашивает:

— Кому надо?

— Иди, — говорю, — ближе.

Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не

сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидала. Визг подняла — уши затыкай:

— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!

Михайло тоже кричит:

— Андрюху Соленого видел. Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!

В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят:

— Надо поглядеть, что за штука!

Пошли тулаем, а так Андрюхе не ладно.

«Покажись, — думает, — зря-то, а мало ли кто в народе случится».

Он и отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолкались около куста, расходиться стали.

Андрюха тут и удумал. Обошел Гумешки лесом да ночью прямо на медный завод. Увидели его там — перепугались. Побросали все да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уж его сняли — обеспамятел вовсе... Андрюха и походил у печей-то... Опять все наглухо заморозил да к барину.

Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь его, ушел на свое место — в узорчату палату. Сам думает:

«Погоди! Еще я тебе соль попомню!»

На другой день в заводе суматоха. Шутка ли во всех печах козлы. Барин слезами ревет. На Гумешках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать, — пущай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.

Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась, и кольца ножные целехоньки, не надпилены даже. Тут руднишного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвет и мечет:

— Поймать, коли живой!

Всех своих стражников-прислужников нарядил в лес обыскивать.

Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколь, видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке все лучше. Сидит у камня, раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была.

«Небось и она поверила, что я умер. Поплакала поди скольнибудь?»

Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу ворочались али так, ягодницы припозднились... Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.

Вот одна-то и говорит:

— Заподумывала поди Тасютка, как про Андрюху услыхала. Живой ведь, сказывают, он.

Другая отвечает:

— Как не живой, коли все печи заморозил!

— Ну, а Тасютка-то что? Искать поди собралась?

— Дура она, Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет.

— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мертвого бы не побоялась.

Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Тасютку осудил. Сам думает:

«Нельзя ли через них весточку послать?»

Пошел на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну, как объявишься?

Поглядел-поглядел, не показался. Пошел обратно.

Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:

— Бери его!

Андрюха видит — со всех сторон бегут... Нажал на камень, да и туда. Стражники-прислужники подбежали, — никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят — стараются. Ну, разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:

— Всамделе, видно, покойник, коли через камень ушел.

Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.

— В Сысерть,— говорит,— мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.

Погрозил — и на лошадь, да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится.

«Ночью,— думает,— попытаю. Не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет».

Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет.

«Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».

Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как все устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:

— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдешь. О еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь,— заслужил. Выведет тебя дорога куда надо. Иди вон в те двери, только чур, не оглядывайся. Не забудешь?

— Не забуду, — отвечает, — спасибо тебе за все доброе.

Поклонился ей и пошел к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся,— где та-то? А она пальцем грозит:

— Забыл обещанье свое?

— Забыл,— отвечает,— ума в голове не стало.

— Эх, ты, — говорит, — а еще Соленый! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?

— Твоя,— говорит,— воля.

— Ну, ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.

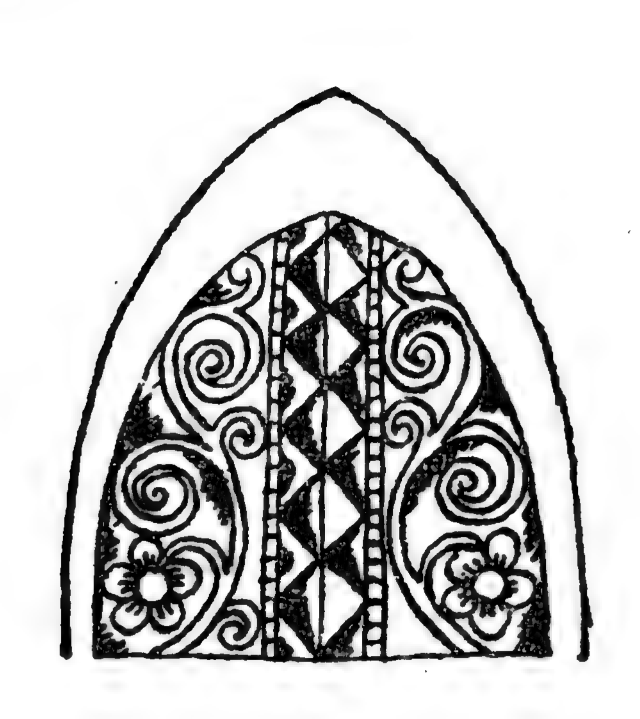
Пошел Андрюха, а та, другая, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней, и конца не видно.

Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его штольня вывела,— про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали.

Посолил он Турчанинову-то!

А те — прислужники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днем и ночью кругом стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел — отошел от страху да их же ругать.

— Пока,— кричит,— вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумешках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?



ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

Был в Полевой приказчик — Северьян Кондратьич. Ох, и лютой, ох, и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь. В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.

А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.

— Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.

Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а все-таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой,

место тесное, да еще у огня. Всякий с орудией какой-нибудь... Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И все народишко — откать последняя. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.

Первым делом уставщика спрашивает:

— Кто худо робит?

Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — понасердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышько, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.

В Медну гору сперва все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блёндочку дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу изо-

бьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю:

— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался.

С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю — готовь к подъему,— вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:

— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!

Приказчик схватился:

— Кто сказал? — Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — *сама* погрозилась.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали, да теперь и посмеиваются про себя: струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:

— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает: «Надо мной смеются».

Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной, да и говорит своей-то ораве:

— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:

— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!

Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каелкой обивай.

Вырвал все-таки, только сапоги спереди оскалились — подошвы отстали.

Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:

— Слыхали что? в шахте?

Те говорят:

— Слыхали.

— Видели — как ноги у меня прилипли?

— Видели,— отвечают.

— Как думаете — что это?

Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:

— Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно.

— Так вот,— говорит Северьян,— слушайте, что я скажу. Завтра как свет в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы.

— Ох да ах, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.

И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит:

— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят — сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит:

— Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда.

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал,— стой! — а она будто и не

слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят — неладно дело: *сама* это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.

Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало.

Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза как уголья.

— Ну,— говорит,— давай разочтемся, убойца! Я тебя упреждала: перестань,— а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?

А Северьян вгорячах кричит:

— Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!

Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.

Уж не своим голосом закричал:

— Эй, сюда!

А девица ему и говорит:

— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.

И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.

— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка.

А приказчик,— он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный,— выхватил свой пистолет.

— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола... в Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила:

— До этого места нет его.— Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:

— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!

А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.

— Эх ты,— говорит,— погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.

Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.

А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены.

Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят,— с одного-то конца она шлифована.

«Что,— думают,— за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать, да и увидели — посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился.

— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.

Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:

— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?

Мастер оглядел глыбу и говорит:

— А кому обой будет?

— Это,— говорит барин,— уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.

— Что ж,— говорит,— постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.

Барин даже огневался на эти слова.

— Не о малахите,— говорит,— думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.

— Это,— отвечает мастер,— кому как.

Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежа были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.

Барин все-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:

— Кабы знатье,— говорит,— так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.

СОЧНЕВЫ КАМЕШКИ

После Степановой смерти — это который малахитовы-то столбы добыл — много народу на Красногорку потянулись. Охота было тех камешков доступить, которые в мертвой Степановой руке видели. Дело-то в осенях было, уж перед снегом. Много ли тут настараешься. А как зима прошла, опять в то место набежали. Поскыркались-поскыркались, набили железной руды, видят — пустое дело,— отстали. Только Ванька Сочень остался. Люди-то косить собираются, а он, знай свое, на руднике колотится. И старатель-то был невсамделешный, а так, сбоку припека. Смолоду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта — барские-то блюдья лизать — у него осталась. Все хотел чем ни на есть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не гож, в горе и недели не выдюжит. Он на прииска и подался. Думал — там мед пьют. Хлебнул, да солоно. Тогда он и приспособил себе ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей. Старательского ковшика не бросил. Тоже около песков кышкался, а сам только то и смышлял, где бы что выведать да конторским довести. Конторские видят себе пользу — сноровлять Сочню стали. Хорошие места отводят, деньжонками подавывают, одежонкой, обувкой. Старатели опять свой расчет с Сочнем ведут: когда по загорбку, когда по уху, когда и по всем местам. Глядя по делу. Только Сочень к битью привыкши был по лакейскому-то сословию. Отлежится да за старое. Так вот и жил — вертелся промеж тех да этих. И женешка

ему под стать была, не то что гулящая али вовсе плеха, а так... чужой ужной звали: на даровщину любила пожить. Ребят, конечно, у них вовсе не было. Где уж таким-то.

Вот как пошли по заводу разговоры про Степановы камешки да кинулся народ на Красногорку, этот Сочень туда же.

«Поищу-ко, думает. Чем я хуже Степана? Небось такой дурности не допущу, чтоб богатство в руке раздавить».

Старатели знают, где что искать. Поскреблись на Красногорке, видят — порода не та,— отстали. А этот Сочень умнее всех себя кажет,— один остался.

— Не я,— говорит,— буду, коли богатства не возьму! — Вот какой умник выискался!

Хлещется этак раз в забое. Вовсе зря руду разворачивает. Вдруг глыба отвалилась. Пудов поди на двадцать, а то и больше. Чуть ноги Сочню не отдавило. Отскочил он, глядит, а в выбоине-то как раз против него два зеленых камня. Обрадовался Сочень, думает — на гнездо напал. Протянул руку выковырнуть камешок, а оттуда как пышкнет — с Ванькой от страху неладно стало. Глядит — из забоя кошка выскочила. Чисто вся бурая, без единой отметины, только глаза зеленые да зубы белеют. Шерсть дыбом, спина горбом, хвост свечкой — вот-вот кинется. Ванька давай-ко от этой кошки бежать. Версты поди две без оглядки чесал, задохся. Потом уж потише пошел. Пришел домой, кричит своей бабе:

— Топи скорей баню! Неладно со мной приключилось.

После бани-то возьми, дурова голова, и расскажи все бабе. Та, конечно, сейчас же присоветовала:

— Сходить бы тебе, Ванюшка, к бабушке Колесишке. Покланяться ей. Она те живо на путь наставит.

Была такая, сказывают, старушонка. Родильниц в банях парила; случалось, и девий грех хоронила. Ноги, слышь-ко, у ней шибко кривые были. Как на колесе тулово посажено. За это Колесишкой и прозывали. Ванька сперва упирался:

— Никуда не пойду, а на рудник и золотом не заманишь. На эки-то страсти! Да ни в жизнь! — За струментишком своим хотел даже человека нарядить. Боялся, вишь. Потом — денька через два, через три — отошел, а бабенка ему свое толмит:

— Сходи ты, сходи к Колесишке! Она ведунья. Научит, как те камешки взять.— Тоже, видно, обжаднела Сочнева-то баба на богатство.

Пошел Ванька к Колесишке. Стал ей рассказывать, а что старуха понимает в земельном богатстве. Сидит да бормочет:

— Дыр-гыр-быр. Змея кошки боится, кошка собаки боится, собака волка боится, волк медведя боится. Дыр-быр-гыр! Чур меня! рассыпься! — Ну, и протчу ведунью дурость, а Ванька думает:

«Ишь какая мудреная бабка».

Рассказал Ванька, старуха и спрашивает:

— Есть у тебя, сынок, яга собачья?

— Есть,— отвечает,— немудренькая, вся в дырьях!

— Это,— говорит,— все едино, лишь бы песьим духом смердило.

— Смердит,— говорит,— шибко смердит. Из некормных собак собрана.

— Вот и ладно. Ты эту ягу надень и с себя не снимай, пока камешки домой не принесешь. А ежели еще опа́сишься, так я тебе дам волчий хвост на шею повесить либо медвежьего сальца в рубаху зашить. Только та штука денежку стоит, и не малую.

Порядился Сочень с ведуньей, сходил домой, принес деньги.

— Давай, баушка, хвост и сало!

Старушонке любо: дурака бог дал.

Повесил Сочень хвост на шею, сало ему жена в рубец на вороту рубахи зашила. Снарядился так-то, надел на себя ягу и пошел на Красногорку. Кто встретится, всяк дивуется — в петровки ягу надел. А Сочень пристанывает — лихоманка одолела,— даром что пот ручьями бежит.

Пришел на рудник. Видит — струментишко его тут валяется. Никто не обзарился. Шалашишко только ветром малость скособочило.

Никто, видать, без него тут не бывал. Огляделся так-то Сочень и давай опять зря руду ворочать. Дело-то к вечеру пошло. Сочень боится на руднике остаться, а намахался. В яге-то летом помаши каелкой! Кто и покрепче — умается, а Сочень вовсе раскис. Где стоял, тут и лег. Сон-от не свой брат,— всех равняет. Который и боязливый, а храпит не хуже смелого.

Выспался Ванька — лучше некуда — и вовсе осмелел. Поел — да за работу. Колотился-колотился, и опять, как тот раз, большая глыба отскочила — едва Ванька ноги уберег. Думает — сейчас кошка выскочит. Нет, никого нету: видно, волчий

хвост да медвежье сало помогают. Подошел к выбоине и видит — выход породы новой обозначился. Пообчистил Ванька кругом, подобрался к тому месту и давай породу расковыривать. Порода сголуба, вроде лазоревки, легкая, рохло лежит. Поковырял маленько — на гнездышко натакался. Целых шесть штук зеленых камешков взял, и все парами в породе сидели. Откуда у Сочня и сила взялась, давай дальше руду ворочать. Только, сколь ни бился, ничего больше добыть не мог. Как отрезало. Даже породы той не стало. Ровно кто ее на поглядку положил.

Долго Ванька не сдавал. Поглядит на камешки, полюбуется да за кайлу. Толку все-таки нет. Измаялся, хлебный запас приел, надо домой бежать. Тропка была прямехонько к ключику, который у мостика через Северушку. Ванька той тропкой и пошел. Лес тут густой, стоялый, а тропка приметная. Идет Сочень, барыши считает, сколько ему за камни дадут. Только вдруг сзади-то:

— Мяу! мяу! отдай наши глаза!

Оглянулся Сочень, а на него прямо три кошки бегут. Все бурые, и все без глаз. Вот-вот наскочат. Ванька в сторону, в лес. Кошки за ним. Только где им, безглазым-то! Сочень с глазами, и то себе всю рожу раскровенил, ягу в клочья изорвал по чаще-то. Сколь раз падал, в болоте вяз, насилу на дорогу выбился. По счастью, мужики северские ехали на пяти телегах. Видят — выскочил какой-то вовсе не в себе,— без слова подсадили и подвезли до Северной, а там Сочень потихоньку сам добрел. Время ночное. Баба у Сочня спит, а избушка не заперта. Беспелюха тоже добрая была, Сочнева-то женешка. Ей бы взвалехнуться, а до дому дела нет. Сочень вздул огонька, покрестил все углы и сразу в кошелек — поглядеть на свои камешки. Хвать-похвать, а в кошельке-то пыли щепоточка. Раздавил! Взвыл тут Сочень и давай с горя Колесишку позаочь материть:

— Не могла, такая-эдакая, от кошек уберегчи. За что я тебе деньги стравил, за что ягу на себе таскал!

Баба пробудилась — ей тычка дал и всяко выкорил. Баба видит — на себя мужик не походит,— давай-ко к нему ластиться. Он ее костерит, а она:

— Ванюшка, не истопить ли баньку?

Знала тоже, с чем подъехать. Ну, Ванька пошумел-пошумел,

да и отошел — рассказал бабе все до капельки. Тут уж она сама заревела. Поглядит на пыль-то в кошельке, на палец возьмет — лизнет и опять в слезы. Поревели так-то оба, потом баба опять советовать стала.

— Видно,— говорит,— Колесишкина сила не берет. Надо для укрепы к попу сходить.

Сочень сперва и слушать не хотел. Думать боялся, как это он еще на тот рудник пойдет. Только ведь баба как осенний дождь. День долбит, два долбит — додолбила-таки. Ну и сам Ванька отутовел маленько.

«Зря,— думает,— я тогда кошек испужался. Что они без глаз-то!»

Пошел к попу: так и так, батюшка.

Поп подумал-подумал, да и говорит:

— Надо бы тебе, сыне, обещанье дать, что первый камешок из добычи на венчик богородице приложишь, а потом по силе добавленье дашь.

— Это,— отвечает Сочень,— можно. Ежели десятка два добуду, пяток не пожалею.

Тогда поп давай над Сочнем читать. Из одной книжки почитал, из другой, из третьей, водой покропил, крестом благословил, получил с Ваньки полтину, да и говорит:

— Хорошо бы тебе, сыне, крестик кипарисовый с Афон-горы доступить. Есть у меня такой, да только себе дорого стоит. Тебе, пожалуй, для такого случая уступлю по своей цене,— и назначил вдвое против Колесишки-то. Ну, с попом ведь не рядятся,— сходил Ванька домой, заскребли с бабой последние деньги. Купил Сочень крестик и перед бабой похваляется:

— Теперь никого не боюсь.

На другой день на рудник собрался. Баба ему ту рубаху, с медвежьим-то салом, вымыла, ягу починила сколь можно. Хвост волчий Ванька на шею надел, тут же крестик кипарисовый повесил. Пришел на Красногорку. Там все по-старому. Что где лежало, то тут и лежит. Только шалашишко еще ровно больше скособочило. Ну, Ваньке не до этого. Сразу в забой. Только замахнулся кайлой, кто-то и спрашивает:

— Опять, Ваня, пришел? Безглазых кошек не боишься?

Ванька оглянулся, а чуть не рядом *сама* сидит. По платью-то малахитовому Ванька сразу признал ее. У Ваньки руки-ноги отнялись и язык без пути заболтался:

— Как же, как же... Дыр-гыр-быр... Свят... свят... рассыпься.

Она этак посмеивается:

— Да ты не бойся! Ведь я не кошка безглазая. Скажи-ка лучше, что тебе тут надо?

Ванька знай бормочет:

— Как же, как же... Дыр-гыр-быр...— Потом отошел будто маленько: — Камешков поискать пришел... В Степановой руке люди видели...

Она прихмурилась.

— Ты это имя не трожь! А камней я тебе дам. Вижу, какой ты старатель, да от приисковских про тебя слыхала. Будто ты шибко им полезный.

— Как же, как же...— обрадовался Ванька.— Я завсегда по совести.

— Вот по твоей совести и получишь. Только, чур, уговор. Никому те камни не продавай. Ни единого, смотри! Сразу снеси все приказчику. Он тебя и наградит из своих рук. Потом из казны добавит. На всю жизнь будешь доволен. Столь отсыплет, что самому и домой не донести.

Сказала так-то и повела Сочня под горку. Как спустилась, пнула ногой огромный камень. Камень отвалился, а под ним как тайничок открылся. По голубой породе камешки зеленые сидят. Полным-полнехонько.

— Нагребай,— говорит,— сколько надо,— а сама тут же стоит, смотрит.

Ванька хоть старатель был маломальный, а кошелек у него исправный, больше всех. Набил натуго, а все ему мало. Охота бы в карманы насовать, да боится: Хозяйка сердито глядит, а сама молчит. Делать нечего,— видно, надо спасибо сказать. Глядит,— а никого нет. Оглянулся на тайник, и его не стало. Будто не было вовсе. На том месте камень лежит, на медведя походит. Пощупал Ванька кошелек — полнехонек, как бы не разошелся. Поглядел еще на то место, где камешки брал, да айда-ко поскорее домой. Бежит-бежит да пощупает кошелек: тут ли. Хвостом волчьим над ним помашет, крестиком потрет и опять бежит. Прибежал домой задолго до вечера. Баба даже испугалась.

— Баню,— спрашивает,— топить?

А он как дикой.

— Занавесь-ко,— кричит,— окошки на улку! — Ну, баба, конечно, занавесила чем попало оба окошечка, а Сочень кошелек на стол.

— Гляди!

Баба видит — полон кошелек каких-то зеленых зернышек. Обрадовалась сперва-то, закрестилась, потом и говорит:

— А может, не настоящие?

Ванька даже осердился:

— Дура! В горе, поди, брал. Кто тебе в гору подделку подсунет? — Про то не сказал, что ему Хозяйка сама камни показала да еще наказ дала. А Сочнева баба все-таки сумлевается:

— Ежели ты сразу кошелек набил, так лошадные мужики узнают — возами привезут. Куда тогда эти камешки? Малым ребятам на игрушки да девкам на буски?

Ванька даже из лица вспыхнул:

— Сейчас узнаешь цену такому камешку!

Отсыпал в горстку пять штук, кошелек на шею и побежал к щегарю.

— Кузьма Мироныч, погляди камешки.

Щегарь огляделся. Стеколко свое на ножках взял. Еще оглядел. Кислотой попробовал.

— Где,—говорит,— взял?

Ну, Ванька, конторская нюхалка, сразу и говорит:

— На Красногорке.

— В котором месте?

Тут Ванька схитрил маленько, указал — где сперва-то работал.

— Сумнительно что-то,— говорит щегарь.— По железу медных изумрудов не бывает. А много добыл?

Ванька и вытащил кошелек на стол. Щегарь взглянул в кошелек и прямо обомлел. Потом отдышался, да и говорит:

— Поздравляю вас, Иван Трифоныч! Счастье вас поискало. Не забудьте при случае нас, маленьких.— А сам Ваньку-то за ручку да все навеличивает. Известно, деньги чего не делают! — Пойдемте,— говорит,— сейчас же к приказчику.

Ванька так и сяк:

— Помыться бы сперва, в баню сходить, переоболокчись.

А это ему охота было камешков отсыпать. Только щегарь свое:

— С таким-то кошелем не то что к приказчику, к царю можно идти. Не побрезгует, во всякое время примет.

Ну, делать нечего. Привел щегарь Ваньку к приказчику. А там сборище како-то было. И сам старый барин тут же, только что приехал. Сидит осередь комнаты и рожок при ухе держит, а приказчик ему: «ду-ду», наговаривает всяку штуку.

Зашел щегарь в ту комнату, обсказал что надо, а приказчик сейчас же в рожок барину задудел:

— Нашли-таки мы медные изумруды. Один верный человек расстарался. Надо его наградить как следует.

Привели Сочня в комнату. Достал он свой кошелек, подал барину да еще и руку ему чмокнул. Барин даже удивился.

— Откуда такой? Весь порядок знает.

— В лакеях раньше-то состоял,— задудел приказчик.

— То-то и есть, — говорит барин,— сразу видать. А еще толкуют, что из дворовых плохие работники. Вон этот сколько добыл.

Сам эдак подкидывает кошелек на руке-то. Кругом вся заводская знать собралась. Барыни, кои поважнее, тут же трутся. Барин стал кошелек развязывать, да сноровки нет, он и подал Сочню — развяжи-де. Сочень рад стараться: дернул ремешок, растянул устьице.

— Пожалуйте!

И тут такой, слышь-ко, дух пошел,— терпеть нельзя. Ровно палую лошадь либо корову затащили. Барыни, которые поближе стояли, платочками рты-носы захватили, а барин на приказчика накинулся:

— Эт-та что? Надсмешки надо мной строишь?

Приказчик хвать рукой в кошелек, а там ничем-ничегошеньки, только дух того гуще пошел. Барин захватил рот рукой да из комнаты. Остальные — кто куда. Один приказчик да Сочень остались. Сочень побелел весь, а приказчик от злости трясется:

— Ты это что? А? Откуда столь вони насобирал? Кто научил?

Сочень видит — дело плохо, давай рассказывать все начистоту. Ничего не утаил. Приказчик слушал-слушал, да и спрашивает:

— Награду, говоришь, сулила?

— Сулила,— вздохнул Сочень.

— От меня сулила?

— Так и сказала: наградит из своей руки да еще из казны добавит.

— Получай тогда,— заревел приказчик да как двинет Сочня по зубам — чуть он угол башкой не прошиб.

— Это,— кричит,— тебе задаток. Награду на пожарной получишь. До веку ее не забудешь.

И верно. На другой день отсыпали Сочню столько, что на своих ногах донести не смог — на рогоже в лазарет стащили. Даже те, кому не раз случалось Сочня колачивать, пожалели маленько:

— Достукался, конторская нюхалка!

Только и приказчику не сладко поелось. В тот же день барин давай его допекать:

— Как ты смел такую штуку подстроить?

Приказчик, понятно, финти-винти:

— Не причастен этому делу. Старателишко меня подвел.

— А кто,— спрашивает,— этого старателишка ко мне допустил да еще с этаким кошельком?

Приказчику податься некуда, сознался:

— Моя оплошка.

— Вот и получи. По заслуге. Ступай-ка из приказчиков надзирателем на Крылатовско,— говорит барин да еще своим подручникам, кои при разговоре случились, объясняет:

— Пущай, дескать, на вольном воздухе пробыгается. И так-то от него дух тяжелый. Недаром козлом дразнят, а теперь и вовсе его видеть не могу. С души воротит, после вчерашнего-то.

На Крылатовском тот приказчик и в доски ушел. После прежнего-то житья несладко тоже пришлось.

Насмеялась, видно, и над ним Хозяйка.

ТРАВЯНАЯ ЗАПАДЕНКА

Это не при нашем заводе было, а на Сысертской половине. И не вовсе в давних годах. Мои-то старики уж в подлетках в заводе бегали. Кто на шаровке, кто на подсыпке, а то в слесарке либо в кузне. Ну, мало ли куда малолетков при крепости загоняли.

Тогда этот разговор про травяную западенку и прошел.

Так, сказывают, дело-то было.

Турчаниновские наследники промотались и половину заводов продали барину Саломирскову. Тут у них неразбериха и пошла.

Продать продали, а деньги с завода Турчаниновым охота получать по-старому. Саломирсков опять, наоборот, говорит:

— Я главный хозяин — мне и получка вся! А вам — сколь выделю.

Спорили-спорили, сговорились нанять главного приказчика. Пущай, дескать, хозяйствует как умеет, а нам бы деньги выдавал, сколько кому по частям причтется.

Так-то, видно, им вольготнее показалось! Оно и то сказать: турчаниновски наследники сроду в заводском деле не мерекали, да и новый барин, видать, не мудренее достался. Он, сказывают, из каких-то царских ли, княжеских незаконных родов вышел. То ему и заводы купили и заслуг всяких надавали.

Завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост.

В экой-то одеже в кричну либо сварочну не пойдешь! Под

домну и вовсе не суйся. Да новый барин об этом и не скучал. По своему понятию другое ремесло придумал: жеребцов по кругу на веревке гонять.

У турчаниновских в ту пору барыня одна в головах ходила. Самая, сказать, умойная баба. Ей гору золота насыпь,— и от той пыли не оставит. Увидела эта барыня — Саломирсков жеребцами забавляется.

«Чем,— думает,— я хуже? Почище заведу!»

И точно, цельный конский завод на Щербаковке поставила и тоже давай жеребцов гонять.

Главный приказчик у них из нездешних случился. Паном почто-то его в глаза звали.

Ну, этот пан сперва барам семечек подсыпал. Поманил, значит. Которое продаст, которое заложит, руду под самым заводом брать велел, уголь чуть не на улицах жгут. Глядишь — и наскребет деньжонок. Барам этого и надо. Разговорами себя тешат:

— Это поначалу так-то. Дальше лучше пойдет.

Приказчик видит — уверились в него бары, взял да и жогнул их сколь мог. Наглухо, сукин сын, заводы в долги посадил, весь народ обездолил, а сам шапочку надел, да и в сторону.

— Прощайте-ко! Век бы на ваших жеребчиков да кобылок глядел, да недосуг мне. Два поместья купил,— хозяевать надо.

Тут промеж бар чуть не драчишка случилась. Один другого винят, ни в чем сговориться не могут, суд завели. Вот тогда они и придумали с глупого-то ума у одних печей нарозно хозяйство вести. Одна половина одного приказчика поставила, другая — другого. И мелкое начальство эдак же. Один так велит, другой на свое поворачивает. Путали-путали народ, потом и народ поделили. Одни, значит, стали турчаниновски, други — саломирсковски. Однем словом, беспутица. А хуже всего это по земельному богатству пришлось.

Не о том забота, как бы найти да добыть, а как бы что новенькое другому хозяину не показать. Всяк про себя смекал:

«Присудят в мою пользу — тогда и буду добывать из нового места».

У барина Саломирскова на ту пору главным щегарем был Санко Масличко. Мужичонко плутяга, до всего донюхается, и в делах понимал. Для приисковых и руднишных самый зловредный. А у турчаниновских щегарем был Яшка Зорко.

Этот вовсе зря на такое место угадал. Он, конечно, тоже смолоду по рудникам да приискам околачивался. Ну на смеху был.

Мужичище бык быком, а рожа у него ровно нарошно придумана. Как свекла краснехонька, а по ней волосешки белые кустичками. Ровно известкой наляпано по тем местам, где у людей волос растет. И по голове эки же кустики прошли. За это и звали его Облезлым.

По доброму-то пустяк это. Мало ли у человека какой изъян случится. Только Яшка шибко перед народом гордился. Дескать, я — приказный, а ты кто еси? Ну, Яшку и не любили. Да он еще похвалялся перед руднишными.

— Меня,— кричит,— не проведешь. Сдалека всяку вашу плутню разгляжу!

Даром, что слепыш слепышом. Еле мизюкал. Носом по чернилу водил, как писать случалось.

Рудобои за эту похвальбу-то и стали звать его еще Зорком. Нет-нет — и поддернут:

— Наш Зорко небось рукавицу с шапкой не смешат. На аршин в землю видит.

Кто-то возьми да и дунь это слово барыне Турчаниновой в ухо. Та, известно, заполошная,— схватилась:

— Где такой объявился?

Ей сказали — в обмерщиках, дескать, на таком-то руднике. Барыня призвала тут Яшку и спрашивает:

— Ты верно на аршин в землю видишь?

Яшке неохота перед барыней свою неустойку по глазам сказать, он и отвечает:

— Пониже наклонюсь, так всяк камешок разгляжу.

Барыня обрадовалась.

— Такого,— кричит,— мне и надо. Будешь главным щегарем на моей половине.

Яшке с малого-то ума это лестно.

— Рад,— отвечает,— стараться.

Барыня свое наказывает:

— Гляди, чтоб Саломирскову чего не донеслось, коли новое найдешь!

Яшка, понятно, хвостом завилял.

— Будьте в спокое! Будьте в спокое! Которое я открою, то ни единой саломирсковской собачонке не унюхать.

Таким случаем, значит, и стал Яшка главным щегарем на турчаниновской половине.

Сперва-то маленько побаивался. Нет-нет и притащит барыне мешочек с камешками с какого-нибудь старого рудника. Вот, дескать, какую штуку обыскал. Только у барыни один разговор:

— Гляди, как бы саломирсковски про это не узнали. Вот суд кончится, тогда и покажешь это место.

Ну, а суд когда кончится! Яшка видит — спокойное дело,— вовсе осмелел. Покатывается на лошадке в седелышке по всей заводской даче — и все. Рожу наел — как не лопнет, а глаза все наприщур держит, будто на-даля глядит. Какие знакомые руднишные встретятся, завсегда Яшке кукишку покажут, а сами наговаривают:

— Наше почтенье Яков Иванычу! Всю поди дачу вызнал,— эдак-то далеко глядишь!

Яшка, конечно, нос кверху. Пятнышки свои на губах погладит, да и говорит:

— Вкруте эко дело не поворотишь. Знаете поди-ко меня,— пустяком займоваться не стану!

Рудобои тут и примутся для смеху Яшке места сказывать:

— Поглядел бы ты по Габеевке. На пятой версте. Мне дедушко сказывал.

Другой опять на Березовый увал приметки говорит. Ну, разное. Кто куда придумает.

Яшка тоже, как вытный, порядок ведет. Вовсе будто к этому безо внимания, и сам, глядишь, и начнет поезживать по тем местам. Руднишным это и забавно.

Раз в таком-то разговоре один рудобой и говорит:

— Что всамделе, ребята, вы к Яков Иванычу с пустяком липнете. Ему богатство открыть все едино, что нам с вами плюнуть. Женится вот на вдове Шаврихе, да укажет она ему мужеву ямку с малахитом,— только и всего. Будет тогда на нашей половине медный рудник почище полевских Гумешек. Яковлевским его поди звать будут, а то, может, Зорковским? Как тебе больше глянется, Яков Иваныч?

Яшка, как ему в обычае, будто и не приметил разговору, а сам думает:

«Верно. Был слушок, что покойный Шаврин где-то ямку с малахитом имел. Может, и впрямь вдова про это знает».

Яшка, видишь, в годах был, а неженатый. Девки его обегали, он и ладил жениться на какой ни на есть вдове. К Шаврихе-то он шибко приглядывался. Совсем дело к свадьбе шло, да как раз барыня Яшку главным щегарем назначила. Ему и низко показалось на вдове из бедного житья жениться. Сразу дорожку в ту улицу забыл, где эта Шавриха жила. Года два, а то и больше не бывал, а тут, значит, и вспомнил. Стал на лошадке подъезжать. Дескать, знай наших! Не кто-нибудь, а главный щегарь!

У вдовы к той поре дочь Устя поспела. Самые ей те годы, как замуж отдают. Яшка слепыш-слепыш, а тоже разглядел эту деваху и давай удочки под этот бережок закидывать. Мать видит, какой поворот вышел,— не супорствует этому. Еще и радуется:

— Вишь, дескать, Усте счастье какое! Глядишь,— и я за Яков Иванычевой спиной в спокое проживу, никто тревожить не станет. Вон он какой начальник! Пешком-то и ходить забыл. Все на лошадке да на лошадке.

У Шаврихи тоже своя причинка была. Мужик-то у ней, покойна головушка, самостоятельного характеру был. Кремешок. Из-за этого, сказывают, и в доски ушел. Он, видишь, малахитом занимался, и слушок шел, будто свою ямку имел где-то вовсе близко от заводу. Ну, барские нюхалки и подкарауливали. Один раз чуть не поймали, да Шаврин ухитрился — в болоте отсиделся. Тут нездоровье и получил. А как умер, жену и стали теснить:

— Сказывай, где малахитовая ямка!

Шавриха — женщина смирная, про мужевы дела, может, вовсе не знала — что она скажет? Говорит по совести, а на нее пуще того наступают:

— Сказывай, такая-сякая!

Пригрожали всяко, улещали тоже, в каталажку садили, плетями били. Однем словом, мытарили. Еле она отбилась. С той поры она и стала шибко бояться всяких барских ухачей.

Устя у той вдовы, как говорится, ни в мать, ни в отца издалась.

Ровно с утра до ночи девка в работе, одежонка у ней сиротская, а все с песней. Веселей этой девки по заводу нет. На гулянках первое запевало. Так ее и звали — Устя Соловьишна. Плясать тоже — редкий ей в пару сгодится. И пошутить

мастерица была, а насчет чего протчего — это не допускала. В строгости себя держала. Однем словом, живой цветик, утеха.

За такой девкой и при бедном житье женихи табунятся, а тут на-ко — выкатил млад ясен месяц на буланом мерине — Яшка Зорко Облезлый! Устенька, конечно, сразу хотела отворотить ему оглобли — на смех его подняла. Только Яшка на это шибко простой. Ему, как говорится, плюнь в глаза, а он утрется да скажет: божья роса.

Устюха все-таки не унывает.

«Подожди,— думает,— устрою я тебе штуку. Другой раз не поманит ко мне ездить».

Узнала, когда Яшка будет, спровадила куда-то мать, нагнала полную избу подружек, да и пристроила около порогу веревку. Как Яшке в избу заходить, Устя натянула веревку, он и чебурахнулся носом в пол, аж посуда на середе забренчала. Подружки смеху до потолка подняли, а Яшку не проняло. Поднялся, да и говорит:

— Не обессудьте, девушки, не доглядел вашей шутки. Привык, вишь, на-даля глядеть, под ногами-то и не заметил.

Что вот с таким сделаешь?

Другой раз Устенька шиповых колючек под седло Яшкину мерину насовала. Мерин хоть вовсе смирный был, а тут сдичал — сбросил Яшку башкой на чьи-то ворота. Только Яшке хоть бы что.

Подружки Устины вовсе приуныли.

— Как ты, Устенька, отобьешься! Стыда у Яшки ни капельки, а башка — чугунная. Гляди-ко, чуть ворота не проломил, а хоть бы что.

И Устенька тоже пригорюнилась.

Тут парни забеспокоились, как бы девку из беды вызволить. Первым делом, конечно, подкараулили Яшку в тихом месте, да и отмутузили. Кулаков, понятно, не жалели. Только Яшка и тут отлежался, а народу большое беспокойство вышло.

Бары хоть друг дружке не на глаза, а при таком случае небось в одну дуду задудели:

— Немедля разыскать, кто смел приказного бить! Эдак-то разохотятся, так — чего доброго — и барам неспокойно будет!

Занюхтили барские собачонки с обеих сторон. Виноватых, конечно, не нашли, а многим, кто на заметке у начальства был, пришлось спину показывать. На саломирсковской стороне пал-

ками тогда хлестали, а на турчаниновской — плетью. Которое слаще, им бы самим отведать.

Много народу отхлестали, а одному чернявому парню,— забыл его прозванье,— так ему с обеих сторон насыпали. Виноватее всех почто-то оказался.

Зато Яшка вовсе нос задрал. Барыня, вишь, придумала, что на Яшку озлобились за работу на барскую руку. Ну, хвалит, понятно, потом спрашивает:

— Не надо ли тебе чего?

Яшка не будь плох и говорит:

— Жениться хочу. На девахе из вашего владения, Шаврихи-вдовы дочь — Устинья.

— Это можно.— И велела Шавриху позвать. Та прибежала, объясняет барыне: дескать, сама-то всей душой, да деваха супротивничает.

— Старый,— говорит,— да облезлый.

Барыня завизжала, заухала:

— Да как она смеет! Ее ли дело разбирать, кого в мужья дадут! Чтоб завтра же под венец!

По счастью, пост случился. По церковному правилу венчать нельзя. Осечка у барыни вышла. Призвала все-таки попа и говорит:

— Как можно станет, сейчас же окрути эту девку! Без поблажки, смотри!

Наказала так-то и укатила в Щербаковку жеребцов гонять.

Пришла Шавриха домой, объявила Усте барынину волю, а Устя ничего.

— Ладно,— говорит.

Задушевные подружки прибежали, болезнуют:

— Приходится, видно, за облезлого выходить.

Устя и им отвечает:

— Что поделаешь! И с облезлыми люди живут.

Подивились подружки,— что с девкой сделалось! — убежали. Тут и сам женишок прикатил, а Устя его всяко привечает. Яшка и обрадовался:

«Поняла, знать, девка свое счастье. Теперь уж малахитовая яма моя будет».

Только подумал, Устюха и говорит ему навстречу:

— Спрашивают меня люди, не знаю ли про отцовскую малахитовую ямку, да я не сказываю.

Яшка башкой заболтал:

— Так и надо! Так и надо! Никому не сказывай! Мне только укажи!

— Тебе-то,— отвечает Устенька,— и подавно боюсь сказать. Еще откажешься тогда от меня. Засмеют меня люди.

Яшка заклялся-забожился:

— Никогда не откажусь! И барыня так велела. Разве можно против барынина приказу идти?

Устенька еще помялась маленько, да и говорит:

— Страшное это дело, Яков Иваныч! Как бы худа тебе не вышло.

Яшка расхрабрился.

— Никого не боюсь. Укажи место!

— То-то и есть,— отвечала Устенька,— что место, где богатство открывается, никому не известно. А могу я сказать, в которое время и где голос слушать.

— Какой,— спрашивает,— голос?

— А тот, который богатство-то указывает.

Тут Устенька и рассказала:

— Покойный тятенька так мне про это сказывал. Есть, дескать, близ Климинского рудника береза приметная. Всю ее губой-слезомойкой изъело, она и согнулась дугой. Только три прута здоровых остались, как три тычка по дуге поставлены.

Вот под этой березой надо стать ночью как раз в эту пору, когда травы наливаются. От Андрея Наливы до Иванова дня. В руках надо держать веник — банный опарыш и стоять крепко, не ворочаться, не оглядываться.

Тут и услышишь голос женский — песню поет. Потом этот голос тебя спросит, кто ты такой да зачем пришел. А как ты скажешь, полетят в тебя камни да песок, а голос опять спросит:

— Которое тебе надо?

Ты, как узнаешь на руку, что тебе надобно, так и кричи скорее:

— Вот это.

Голос тебе и укажет место. А там уже дело простое. Потяни в этом месте за траву,— и откроется тебе западенка, как ход в гору, а там этого песку либо руды сколь хочешь, хоть возами греби.

Только под березу надо пешком идти. На лошади поедешь — ничего не услышишь. И банный опарыш, смотри, из рук не вы-

пускай! Да коли какой камешок в тебя угодит, потерпи как-нибудь, не закричи!

Выслушал Яшка этот разговор и в тот же день уехал березу искать. Нашел ловко. Все приметы сошлись.

Вечером взял Яшка мешок, спрятал в него банный опарыш, да и пошел на примеченное место.

Ночью в лесу, хоть и летом, одному без огонька скучненько. Ну, Яшка об этом не думал, спозаранку считал, сколько ему из богатства урвать достанется. Стоит как пень — не пошевельнется и банный опарыш в руках держит.

Как вовсе глухая ночь настала, слышит — голос женский запел. Тихонько и где-то совсем близко. Песня незнакомая. Яшка только и разобрал: «Милый друг, ясны глазыньки».

Потом голос спрашивает:

— Ты, молодец, кто такой будешь и зачем пришел?

Яшка назвал-звеличал себя, да и объясняет:

— Малахитовой руды доступить желаю.

— А ты,— спрашивает голос,— женатый али холостой!

— Холостой,— говорит Яшка.

— То-то! Женатым я не пособляю! — говорит голос. Потом опять спрашивает:

— Ты камнерез али рудобой?

— Я главный щегарь!

— Вон что! — вроде как удивилась та женщина.— Тебе, значит, всякой породы камни подойдут? Получай, не то, да выбирай, какое любее!

Тут посыпались в Яшку камни да песок. До того порно бьют, что едва на ногах Яшка держится, даром что мужик здоровенный. Не до того ему, чтобы породу выбирать, да и где такому в потемках на руку поднять камень. Одна плитка садчее других пришлась. Яшка ухватил ее, да и кричит недоладом:

— Эта вот самая! Эта!

Тогда женщина и говорит:

— Ладно. Приходи завтра в это же время к Карасьей горе. Там скажу тебе, что надо.— И объяснила, в котором месте дожидаться. После этого голоса не стало.

Яшка постоял еще сколько-то, потом давай по земле руками шарить, камни подбирать. Полон мешок нагреб и поволок его

домой, как светать стало. Еле доволок, даром что чуть не половина камней по дороге через дырки в мешке высыпалась. Яшка и не заметил. Говорит еще:

— Вишь, как утряслось!

Стал дома камни разглядывать. Разное оказалось. Котора руда железная, которое — просто галька. Ну, и малахит есть. Та плитка, которую Яшка сперва ухватил и за пазуху спрятал, тоже малахитовая оказалась. Да и малахит-то поделочный, самого высокого сорту.

Обрадовался Яшка, про синяки и раны свои сразу забыл.

«Как бы,— думает,— не сорвалось! Что это она про женатых говорила? Ладно ли, что я жениться собираюсь?»

Раздумывать Яшке все-таки не время. Засветло надо сперва оглядеться, а Карасья гора не близкое место. Запрятал мешок с породой, поел, да и поехал. Того и не думает, что за ним подглядывают.

Утром, как Яшка под мешком кряхтел, его видели саломирсковски прислужники и камешок — один или два — подобрали. У собачонок, известно, завычка,— как бы друг дружку подкусить. Сейчас же, значит, эти камешки своему барину представили.

— Вот-де с чем турчаниновский щегарь по городской дороге шел, а наш щегарь куда глядит?

Барин, как ему втолковали, чем эти камешки пахнут, не хуже жеребца на дыбы поднялся. Своему-то щегарю Санку Масличку малахитиной в зубы.

— Погложи-ко!

Санко завертелся:

— Буду стараться.

У барина свой разговор.

— Три дня сроку! Коли не узнаешь, из-под палок не встанешь!

Тут Масличко и заповорачивался. Первым делом погнал по городской дороге,— не оставил ли Яшка еще следочка, а дружкам своим наказал:

— Глядите за Яшкой!

На городской дороге ничего не нашел. Приехал домой, дружки и сказывают — туда-то Яшка проехал. Масличко в ту же сторону кинулся, да и подкараулил Яшку, а тот сослепу и не приметил.

К вечеру Яшка опять захватил мешок с банным опарышем, да и зашагал к Карасьей горе, а Масличко за ним крадется.

Добрался Яшка до большого камня и тут остановился. Достал что-то из мешка, перед носом держит, а сам стоит, не пошевелится. И Масличко недалеко от того места притаился.

Как ночь глухая наступила, близенько от Яшки на траве светлячок загорелся. За ним другой, третий, да и насыпало их. Как западенку на траве обвели, и кольцо посередке. Только-только поднять, а тут женский голос и спрашивает:

— Это у тебя, молодец, на что банный опарыш?

Яшка, видно, вкруте не смекнул, как ответить, да и ляпнул:

— Невеста мне так велела.

Женщина вроде как осердилась:

— Как ты смел тогда ко мне являться! Сказано тебе — женатым не пособляю, а женихам и подавно!

Яшка тут и давай изворачиваться:

— Не сердись, сделай милость! Подневольный человек — что поделаешь! Барыня это мне велела. Сам-то я только о том и думаю, как бы от этой невесты отбиться.

— Вот, — отвечает женщина, — сперва отбейся, тогда и ко мне приходи! Только не на это место, а на Полевскую дорогу. Знаешь Григорьевский рудник? Вот там найди такую же березу, под какой первый раз стоял. Под этой березой и будет тебе западенка. Поднимешь ее за траву и бери сколько окажется.

Замолчала женщина. Яшка постоял еще, а как светать стало, побежал домой. Ну, а Масличко остался. Хотел, видно, при свете то место хорошенько оглядеть.

Прибежал Яшка домой. Схватил мешок с камнями да айдака к барыне, в Щербаковку. Рассказал ей, вот-де штука какая выходит, и камни показал. Барыня, как поняла, сейчас закричала:

— Не сметь у меня и заикаться о женитьбе! Надо о барской выгоде стараться, а не о пустяках думать! А попу да приказчику скажи, чтоб ту негодную девку обвенчали, как приказано. Пущай приказчик найдет ей жениха, да такого, чтоб хуже его не было!

Приехал Яшка домой, передал приказчику да попу барынин наказ насчет Устеньки, а сам ко Григорьевскому руднику побежал. До ночи искал березу — не мог найти. На другой день

то же. Так и пошло. Ходит около рудника с утра до вечера. Про то и думать забыл, что Иванов день давно прошел. Отстрадовали люди, к зиме дело пошло, а Яшка все около рудника топчется — кривую березу ищет. Березы реденько попадаются, да все прямые. Какая Яшке сослепу кривой покажется, под той он до ночи стоит, а ночью примется траву драть. Начисто кругом опашет. Нет, не открывается западенка.

Однем словом, ума решился. Вовсе дурак стал. Из-за жадности-то своей. Барыня, конечно, пробовала лечить Яшку плетями,— будто он богатство Саломирскову продал,— да тоже ничего не вышло. Так, сказывают, и замерз Яшка на Григорьевском руднике, под березой.

А Санка Масличка у Карасьей горы мертвого нашли. И стяжок березовой рядом оставлен. Стяжок ровно легонький, да рука, видать, тяжелая пришлась. Может, Масличко близко к месту подошел, али еще какая опаска от него вышла, — его, значит, и стукнули. А может, и за другое. Тоже ведь было за что.

Барин Саломирсков по этому случаю жалобу подал: «Турчаниновски моего главного щегаря убили и богатство спрятали». Турчаниновски опять наоборот: «Саломирсков нашего главного щегаря с ума свел и богатство украл». Потом, конечно, на каждой половине других щегарей назначили, а наказ им все тот же:

— Гляди у меня! Как бы другая половина чего не нашла!

Ну, те и давай стараться волчьим обычаем. Только о том и думают, как бы свой кусок ухранить, а чужой из зубов вырвать. Дорогие пески пустяком заваливают, в пустые пески золотом стреляют, породу где не надо подбрасывают и протча тако. Мало сказать путают,— начисто нитки рвут.

Какому старателю посчастливит на новое место натакаться, того сейчас к приказчику волокут, а там один разговор:

— Зарой и забудь, а не то!.. Понял?

А как не поймешь, коли дело бывалое? Чуть кто заартачится, того с семьей на дальние прииска сгонят, а то и в солдаты сдадут либо вовсе с концом в Сибирь упеткают. Ну, а кто не упирается,— тому стакан вина да рублевка серебра. Просто понять-то.

Так вот и зарывали да забывали. Иное поди и вовсе зарыли да забыли. И не найдешь!

Про травяную западенку все-таки разговор не заглох. Нет-нет да и пройдет.

Ягодницы либо еще кто видели... Вовсе на гладком покосном месте подъехал мужик на телеге. Потянул за траву, и открылась ему западенка. Спустился он в эту западенку и давай оттуда малахитовые камни таскать да на телегу складывать. Закрыл потом пологом и поехал потихоньку, и западенки не стало.

Насчет места только путают. Кто говорит — у городской дороги это было, где сперва малахитины-то нашли, кто — у Григорьевского рудника, где Зорко замерз. Другие опять сказывают, что у Карасьей горы, близко от того места, где Маслишка нашли. Однем словом, путанка. Крепконько, видно, ту западенку травой затянуло...

А об Устеньке что сказать? Ее, как петровки прошли, замуж отдали. Приказчик вовсе и думать не стал, кого ей в мужья, сразу попу сказал:

— Виноватее такого-то у меня нет. Совсем от рук парень отбился. Кабы не хороший камнерез был, давно бы его под красную шапку поставил!

И указал попу на того чернявого парня, которого с двух-то сторон за Яшку хлестали.

Попу не все едино, с кого деньги сорвать? Обвенчал, как указано, да Устенька и не супротивничала. Веселенько замуж выходила и потом, слышно, не каялась. До старости не покинула девичьей своей привычки. Где по заводу песня завелась, так и знай — непременно тут Устя Соловьишна.

С мужиком-то своим они складненько жили. Камнерез он у ней был, и ребята по этому же делу пошли. Нынешний сысертский малахитчик Железко из этой же семьи. Устинье-то он не то внучком, не то правнучком приходится.

Кто вот слыхал про Соловьишну да Зорка, те и думают, что этот Железко про травяную западенку знает. Спрашивают у него: скажи, дескать, в котором месте? Только Железко — железко и есть: немного из него соку добудешь.

Подпоить сколько раз пробовали,— тоже не выходит. Железка-то, сказывают, поить, как песок поливать. Сами упарятся: ноги врозь, язык на губу, а Железко сухим-сухохонек да еще посмеивается:

— Не сказать ли вам, друзья, побасенку про травяную западенку? В каком месте ее искать, с которой стороны отворять, чтоб барам не видать?

Вот он какой — Устиньин-то внучек! Да и как его винить, коли у него дело такое. Ведь только обмолвись — сейчас на том месте рудник разведут, а где камень на поделку брать? Железко, значит, и укрепился.

— Ищите сами!

Ну, найти не просто. Барским-то щегарям тут, видно, кто-то и с умом пособил следок запутать. С умом и разбирать надо. А по всему видать, есть она — травяная-то западенка. Берут из нее люди по малости. Берут.

Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекайте. А на мой глаз, ровно ниточки-то больше к Карасьей горе клонят. У этой горы да Карасьего озера и поглядеть бы! А? Как, по-вашему?

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ

Был еще на руднике такой случай. В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.

Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.

— Пойдет такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет.

Люди, понятно, и сторожатся кто как может, а начальство в перву голову. Руднишный смотритель, как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:

— Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков да вели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу.

Надзирателем на ту пору пришелся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и без толку народ полошит, как на пожар.

— Поспешай, робятушки, поспешай! Руднишно дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога — там.

За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали.

Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала-плотника, да и говорит:

10 Заказ № 1673

— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте благословясь. Руднишно дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у меня, как на грех, в боку колотье поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!

Бергалу податься некуда — пошел, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу все же никому неохота. Ераско даже пригрозил:

— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал поди?

Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечишко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его.

На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надежная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки-бревна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.

Ераско Поспешай все же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотье в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.

Под рукой у Ераска много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился,— никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала, да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили, и отводились, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на черное житье.

Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью в землю ушел, а девчоночка ничего,— востроглазенькая да здоровенькая. Таюткой звали. Годов четырех она от матери осталась, а в своей ровне уж на примете была,— на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.

Поссорятся девчонки на игре, разревутся, да и бегут к матерям жаловаться.

— Это все Тайка Заря придумала!

Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:

— Ах она, вострошарая! Поймаем вот ее да вицей! Еще отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарей сходится. Узнает!

Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла поди-ко, что она ему как порошинка в глазу,— только об ней и думал. Придет с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о веселом больше помнила.

Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает — беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.

— Вот она у меня какая забавуха растет, а мачеха придет — все веселье погасит.

Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал, и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет:

— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то.

Те понятно:

— Ладно, ладно. Не беспокойся!

Уйдет на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.

Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мерзнет до вечера, пока отец с рудника не придет да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:

— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест.

Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обряжать Таютку парнишком. Наденет на нее братнюю одежонку, да и ведет с собой. Рудобои, которые по суседству

жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят,— по горькой нужде мужик с собой ребенка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребенок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы, да и наговаривает:

— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каелкой выворачивать?

Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч.

Как увидят, сейчас разговор:

— А, Натал Гаврилыч!

— Как житьишком, Натал Гаврилыч?

— Отцу пособлять пришел, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.

Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.

Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько:

— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка!

Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошел домой, заподумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.

Пришел домой,— у Таютки нос от реву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платьишко все порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка все-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась:

— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.

У Гани руки задрожали, а сам подумал:

«Верно, не лучше ли ее с собой взять. Какое ее житье, коли живым не выйду!»

Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлебкой, поужинали, и Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:

— Тятя, смотри не забудь меня разбудить. С тобой пойду.

Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевел, в конце концов решил:

«Возьму! Коли погибнуть доведется, так вместе».

Утром разбудил Таютку, обрядил ее, по обычаю, парнишком, поели маленько и пошли на рудник.

Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведет, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто ее не зовет. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:

— Ты бы, Гаврила, этого не выдумывал — ребенка с собой таскать. Не ровен час — какой случай выйдет.

Потом парень-одиночка подошел. Сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько:

— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на мое место ступай, а я на твое.

Тут другие зашумели:

— Чего там! По жеребьевке надо! Давай Поспешая! Пущай жеребьевку делает, коли такое дело!

Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал: велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может.

Хотели без Поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч.

Этот Полукарпыч мысли и повернул.

— Постойте-ко,— говорит,— постойте! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитей-то помилует. Податная на это, будьте покойны! Гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово.

Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: «На что лучше, коли без меня обойдется», и стали поскорее расходиться по своим местам.

Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про Хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте все по-другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно. Кто руду бьет, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоем шагают, да еще Полукарпыч увязался за ними же.

— Мне,— говорит,— в той же стороне работа, провожу до места.

Шли-шли, Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:

— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?

Гаврило вздохнул и говорит:

— Как придется. Может, и попадем.

Таютка опять:

— Она далеко живет?

Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:

— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.

— А она сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.

Таютке это любопытно. Она и говорит.

— Вот бы мне такой цветочек!

Старичонко и на это согласен:

— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.

Так и заговорил ребенка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:

— Дедо, я ни за что, ну вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду.

Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надежная поставлена, и смолье тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смолье разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блендочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.

Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.

Глазенки, известно, молодые, вострые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда

она давай пальчишком щупать. Чует — гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову:

— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!

Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:

— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Гляди-ко,— я нисколь не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хошь заставлю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дерну за бороду — он тоже. Гляди, я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!

Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всяки штуки строить.

Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под Таюткиными ручонками так книзу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали — обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше, да и говорит:

— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовем. Без зову, смотри, не ходи — осержусь!

Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала поди-ко, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась да от скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладошку. Исподка у него руда рудой, а повернешь — там вроде маленькой чашечки либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.

А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каелки от гладкого места, да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее при-

шлась... Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмостился на чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша в наклон поставлена, а кругом порода узором легла, и до того крепкая, что каелка ее не берет.

Старик для верности и по самой чаше не раз каелкой стукал. Сперва понизу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да еще приговаривает:

— Дай-ко хвачу по носу старика — пусть на меня не замахивается!

Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каелки даже малой чатинки не остается. Тут оба уверились — крепко. Побежал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:

— У меня такое есть! — и показывает свой камешок.

Большие видят,— верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:

— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.

— Нет, дедо, я сама нашла.

Гаврило тоже посомневался:

— Мало ли какой случай бывает.

На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:

— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.

Таютка от таких слов голосом закричала:

— Не отдам! Никому не отдам!

А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала,— дескать, так-то надежнее.

К вечеру по руднику слух прошел:

— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Полукарпычем они гору руды набили да еще зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.

Всякому, конечно, любопытно. Как к подъему объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно

рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнется сперва, а потом засмеется. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут дело вовсе сурьезное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу, да и кричит:

— Это вот тот большой парень зеркало открыл!

Другие отзываются:

— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!

А Таютка помалкивает да ручонкой крепче свое маленькое зеркальце прижимает.

Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к Ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем:

— Поспешай, ребятушки, к подъему! Не до ночи вас ждать! Руднично дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!

А сам, по собачьему положению, другое смекает:

«Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину отрыли. Тогда мне, а не смотрителю награда будет».

Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да еще над Ераском насмехается:

— Вот что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.

Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.

А смотритель знай подзуживает:

— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.

Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал:

«Напишу-ка я грамотку заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется».

Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то отрыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?

Ераско это с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого барина из заграничных земель была.

У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал:

«Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду — людей посмотрю, себя покажу».

Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.

Только дорога-то шла через немецки земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые.

Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее, — из таких все-таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали немку нахваливать:

— Вот невеста так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезешь, у соседей в глазах зарябит.

Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:

— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.

Барин, понятно, закипятился.

— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?

А немка знай посмеивается.

— По нашим,— говорит,— обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.

Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Свое твердит:

— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.

Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на смех, дескать, поднимут, — он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начетисто показалось али другая какая причина вышла, привез-таки свою немку в Сысерть и говорит:

— Сиди тут.

Ну, ей тоскливо, она и вытворяла что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, сказывают, и не разберешь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маята. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.

Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.

— Показывай, какое зеркало нашел!

Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают, никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое:

— Пойду и пойду!

Тут еще баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:

— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!

Делать нечего, стали их спускать. Начальство все в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блендочки ей светит. Довел-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:

— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!

Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня свое:

— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!

Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась...

Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.

Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ничему не научишь.

Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый наконешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!

А зеркала в горе не стало: все осыпалось.

Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно — у кого.

КОШАЧЬИ УШИ

В те годы Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех жила. Она, вишь, на дороге пришлась в казачью сторону. Народ тудасюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили. Мало ли в дороге с кем встретишься, чего наслушаешься. И деревень кругом много.

У нас в Полевой против сысертского-то житья вовсе глухо было. Железа в ту пору мало делали, больше медь плавили. А ее караваном к пристани-то возили. Не так вольготно было народу в дороге с тем, с другим поговорить, спросить. Под караулом-то попробуй! И деревень в нашей стороне — один Косой Брод. Кругом лес, да горы, да болота. Прямо сказать — в яме наши старики сидели, ничего не видели. Барину, понятное дело, того и надо.

Спокойно тут, а в Сысерти поглядывать приходилось.

Туда он и перебрался. Сысерть главный у него завод стал. Нашим старикам только стражи прибавил да настрого наказал прислужникам:

— Глядите, чтобы народ со стороны не шлялся, и своих покрепче держите.

А какой тут пришлый народ, коли вовсе на устоonье наш завод стоит. В Сысерть дорогу прорубили, конечно, только она в те годы, сказывают, шибко худая была. По болотам пришлась. Слани верстами. Заневолю брюхо заболит, коли по жердинку

протрясет. Да и мало тогда ездили по этой дороге. Не то что в нонешнее время — взад да вперед. Только барские прислужники да стража и ездили. Эти верхами больше,— им и горюшка мало, что дорога худая. Сам барин в Полевую только на полозу ездил. Как санная дорога установится, он и давай наверстывать, что летом пропустил. И все норовил нежданно-негаданно налететь. Уедет примерно вечером, а к обеду на другой день уж опять в Полевой. Видно, подловить-то ему кого-нибудь охота было. Так все и знали, что зимой барина на каждый час жди. Зато по колесной дороге вовсе не ездил. Не любо ему по сланям-то трястись, а верхом, видно, неспособно. В годах, сказывают, был. Какой уж верховой! Народу до зимы-то и полегче было. Сколь ведь приказчик ни лютует, а барин приедет,— еще вину выищет.

Только вот приехал барин по самой осенней распутице. Приехал не к заводу либо к руднику, как ему привычно было, а к приказчику. Из конторы сейчас же туда всех приказных потребовал и попов тоже. До вечера приказные пробыли, а на другой день барин уехал в Северну. Оттуда в тот же день в город поволокся. По самой-то грязи приспичило ему. И обережных с ним что-то вовсе много. В народе и пошел разговор: «Что за штука? Как бы дознаться?»

По теперешним временам это просто — взял да сбегал либо съездил в Сысерть, а при крепости как? Заделье надо найти, да и то не отпустят. И тайком тоже не уйдешь,— все люди на счету, в руке зажаты. Ну, все-таки выискался один парень.

— Я,— говорит,— вечером в субботу, как из горы поднимут, в Сысерть убегу, а в воскресенье вечером прибегу. Знакомцы там у меня. Живо все разузнаю.

Ушел, да и не воротился. Мало погодя приказчику сказали, а он и ухом не повел искать парня-то. Тут и вовсе любопытно стало,— что творится? Еще двое ушли, и тоже с концом.

В заводе только то и нового, что по три раза на дню стала стража по домам ходить, мужиков считать,— все ли дома. В лес кому понадобится за дровами либо за сеном на покос,— тоже спросись. Отпускать стали грудками и со стражей.

— Нельзя,— говорит приказчик,— поодиночке-то. Вон уж трое сбежали.

И семейным в лес ходу не стало. На дорогах заставы приказчик поставил. А стража у него на подбор — ни от одного

толку не добьешься. Тут уж как в рот положено стало, что в Сысертской стороне что-то деется, и шибко им — барским-то приставникам — не по ноздре. Зашептались люди в заводе и на руднике:

— Что хочешь, а узнать надо.

Одна девчонка из руднишных и говорит:

— Давайте, дяденька, я схожу. Баб-то ведь не считают по домам. К нам вон с баушкой вовсе не заходят. Знают, что в нашей избе мужика нет. Может, и в Сысерти эдак же. Способнее мне узнать-то.

Девчонка бойконькая... Ну, руднишная, бывалая... Все-таки мужикам это не в обычае.

— Как ты,— говорят, — птаха Дуняха, одна по лесу сорок верст пройдешь? Осень ведь — волков полно. Костей не оставят.

— В воскресенье днем,— говорит,— убегу. Днем-то поди не посмеют волки на дорогу выбежать. Ну, и топор на случай возьму.

— В Сысерти-то,— спрашивают,— знаешь кого?

— Баб-то,— отвечает,— мало ли. Через них и узнаю, что надо.

Иные из мужиков сомневаются:

— Что баба знает?

— То,— отвечает,— и знает, что мужику ведомо, а когда и больше.

Поспорили маленько мужики, потом и говорят:

— Верно, птаха Дуняха, тебе сподручнее идти, да только стыд нам одну девку на экое дело послать. Загрызут тебя волки.

Тут парень и подбежал. Узнал, о чем разговор, да и говорит:

— Я с ней пойду.

Дуняха скраснела маленько, а отпираться не стала.

— Вдвоем-то, конечно, веселее, да только как бы тебя в Сысерти не поймали.

— Не поймают,— отвечает.

Вот и ушли Дуняха с тем парнем. Из завода не по дороге, конечно, выбрались, а задворками, потом тоже лесом шли, чтобы их с дороги не видно было. Дошли так спокойно до Косого Броду. Глядят — на мосту трое стоят. По всему видать — караул. Чусовая еще не замерзла, и вплавь ее где-нибудь повыше либо пониже тоже не возьмешь — холодно. Поглядела из лесочка Дуняха и говорит:

— Нет, видно, мил дружок Матюша, не приводится тебе со мной идти. Зря тут себя загубишь и меня подведешь. Ступай-ко скорее домой, пока тебя начальство не хватилось, а я одна попытаюсь на женскую хитрость пройти.

Матюха, конечно, ее уговаривать стал, а она на своем уперлась. Поспорили, да на том и решили. Будет он из лесочка глядеть. Коли не остановят ее на мосту — домой пойдет, а остановят — выбежит, отбивать станет. Подобралась тут Дуняха поближе, спрятала покрепче топор, да и выбежала из лесу. Прямо на мужиков бежит, а сама визжит-кричит:

— Ой, дяденька, волк! Ой, волк!

Мужики видят — женщина испугалась,— смеются. Один-то ногу еще ей подставил, только, видать, Дуняха в оба глядела, пролетела мимо, а сама все кричит:

— Ой, волк! Ой, волк!

Мужики ей вдогонку:

— За подол схватил! За подол схватил! Беги — не стой!

Поглядел Матюха и говорит:

— Пролетела птаха! Вот девка! Сама не пропадет и дружка не подведет! Дальше-то влеготку пройдет сторонкой. Как бы только не припозднилась, волков не дождалась!

Воротился Матвей домой до обхода. Все у него и обошлось гладко — не заметили. На другой день руднишным рассказал. Тогда и поняли, что тех — первых-то в Косом Броду захватили.

— Там поди сидят запертые да еще в цепях. То приказчик их и не ищет,— знает, видно, где они. Как бы туда же наша птаха не попалась, как обратно пойдет!

Поговорили так, разошлись. А Дуняха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сысерти дошла. Раз только и видела на дороге полевских стражников. Домой из Сысерти ехали. Прихоронилась она, а как разминовались, опять пошла. Притомилась, конечно, а на свету еще успела до Сысерти добраться. На дороге тоже стража оказалась, да только обойти-то ее тут вовсе просто было. Свернула в лес и вышла на огороды, а там близко колодец оказался. Тут женщины были, Дуняху и незаметно на людях стало. Одна старушка спросила ее:

— Ты чья же, девушка, будешь? Ровно не из нашего конца?

Дуняха и доверилась этой старушке.

— Полевская,— говорит.

Старушка дивится:

— Как ты это прошла? Стража ведь везде наставлена. Мужики не могут к вашим-то попасть. Который уйдет — того и потеряют.

Дуняха ей сказала.

Тогда старушка и говорит:

— Пойдем-ко, девонька, ко мне. Одна живу. Ко мне и с обыском не ходят. А придут — так скажешься моей зареченской внучкой. Походит она на тебя. Только ты будто покорпуснее будешь. Зовут-то как?

— Дуняхой,— говорит.

— Вот и ладно. Мою-то тоже Дуней звать.

У этой старушки Дуняха и узнала все. Барин, оказывается, куда-то вовсе далеко убежал, а нарочные от него и к нему каждую неделю ездят.

Всё какие-то наставления барин посылает, и приказчик Ванька Шварев те наставления народу вычитывает. Железный завод вовсе прикрыт, а мужики на Щелкунской дороге канавы глубоченные копают да валы насыпают. Ждут с той стороны прихода. Говорят — башкирцы бунтуются, а на деле вовсе не то. По дальним заводам, по деревням и в казаках народ поднялся, и башкиры с ними же. Заводчиков да бар за горло берут, и главный начальник у народа Омельян Иваныч прозывается. Кто говорит — он царь, кто — из простых людей, только народу от него воля, а заводчикам да барам — смерть! То наш-то хитряга и убежал подальше. Испугался!

Узнала, что в Сысерти тоже обход по домам и работам мужиков проверяет по три раза в день. Только у них еще ровно строже. Чуть кого не случится, сейчас всех семейных в цепи да и в каталажку. Человек прибежит:

— Тут я,— по работе опоздал маленько!

А ему отвечают:

— Вперед не опаздывай! — да и держат семейных-то дня два либо три.

Вовсе замордовали народ, а приказчик хуже цепной собаки.

Все-таки, как вечерний обход прошел, сбежались к той старушке мужики. Давай Дуняху расспрашивать, что да как у них. Рассказала Дуняха.

— А мы,— говорят,— сколько человек к вашим отправляли — ни один не воротился.

— То же,— отвечает,— и у нас. Кто ушел — того и потеряли! Видно, на Чусовой их всех перехватывают.

Поговорили-поговорили, потом стали о том думать, как Дуняхе в Полевую воротиться. Наверняка ее в Косом Броду поджидают, а как мимо пройдешь?

Один тут и говорит:

— Через Терсутско болото бы да на Гальян. Ладно бы вышло, да мест этих она не знает, а проводить некому...

— Неуж у нас смелых девок не найдется? — говорит тут хозяйка.— Тоже поди-ко их не пересчитывают по домам, и на Терсутском за клюквой многие бывали. Проводят! Ты только дальше-то расскажи ей дорогу, чтоб не заблудилась, да и не опоздала. А то волкам на добычу угодит.

Ну, тот и рассказал про дорогу. Сначала, дескать, по Терсутскому болоту, потом по речке Мочаловке на болото Гальян, а оно к самой Чусовой подходит. Место тут узкое. Переберется как-нибудь, а дальше полевские рудники пойдут.

— Если,— говорит,— случится опоздниться, тут опаски меньше. По тем местам от Гальяна до самой Думной горы земляная кошка похаживает. Нашему брату она не вредная, а волки ее побаиваются, если уши покажет. Не шибко к тем местам льнут. Только на это тоже не надейся, побойче беги, чтобы засветло к заводу добраться. Может, про кошку-то — разговор пустой. Кто ее видал?

Нашлись, конечно, смелые девки. Взялись проводить до Мочаловки. Утром еще потемну за завод прокрались мимо охраны.

— Не сожрут нас волки кучей-то. Побоятся поди. Пораньше домой воротимся, и ей — гостье-то нашей — так лучше будет.

Идет эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погодя и песенки запели. Дорога бывалая, хаживали на Терсутско за клюквой — что им не петь-то?

Дошли до Мочаловки, прощаться с Дуняхой стали. Время еще не позднее. День солнечный выдался. Вовсе ладно. Тот мужик-от говорил, что от Мочаловки через Гальян не больше пятнадцати верст до Полевой. Дойдет засветло, и волков никаких нет. Зря боялись.

Простились. Пошла Дуняха одна. Сразу хуже стало. Места незнакомые, лес страшенный. Хоть не боязливая, а запооглядывалась. Ну и сбилась маленько.

Пока путалась да направлялась, глядишь — и к потемкам дело подошло. Во всех сторонах заповывали. Много ведь в те годы волков-то по нашим местам было. Теперь вон по осеням под самым заводом воют, а тогда их было — сила! Видит Дуняха — плохо дело. Столько узнала, и даже весточки не донесет! И жизнь свою молодую тоже жалко. Про парня того — про Матвея-то — вспомнила. А волки вовсе близко. Что делать? Бежать — сразу налетят, в клочья разорвут. На сосну залезть — все едино дождутся, пока не свалишься.

По уклону, видит, к Чусовой болото спускаться стало. Так мужик-от объяснял.

Вот и думает: «Хоть бы до Чусовой добраться!»

Идет потихоньку, а волки по пятам. Да и много их. Топор, конечно, в руке, да что в нем!

Только вдруг два синеньких огня вспыхнуло. Ни дать ни взять — кошачьи уши. Снизу пошире, кверху на нет сошли. Впереди от Дуняхи шагов поди до полсотни.

Дуняха раздумывать не стала, откуда огни,— сразу к ним кинулась. Знала, что волки огня боятся.

Подбежала — точно, два огня горят, а между ними горка маленькая, вроде кошачьей головы. Дуняха тут и остановилась, меж тех огней. Видит — волки поотстали, а огни все больше да больше, и горка будто выше. Дивится Дуняха, как они горят, коли дров никаких не видно. Насмелилась, протянула руку, а жару не чует. Дуняха еще поближе руку подвела. Огонь метнулся в сторону, как кошка ухом тряхнула, и опять ровно горит.

Дуняхе маленько боязно стало, только не на волков же бежать. Стоит меж огнями, а они еще кверху подались. Вовсе большие стали. Подняла Дуняха камешок с земли. Серой он пахнет. Тут она и вспомнила про земляную кошку, про которую мужик сысертский сказывал. Дуняха и раньше слышала, что по пескам, где медь с золотыми крапинками, живет кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видали, а кошку никому не доводилось. Под землей она ходит.

Стоит Дуняха промеж тех кошачьих ушей и думает: как дальше-то? Волки отбежали, да надолго ли? Только отойди от огней — опять набегут. Тут стоять холодно, до утра не выдюжить.

Только подумала,— огни и пропали. Осталась Дуняха в

потемках. Оглянулась — нет ли опять волков? Нет, не видно. Только куда идти в потемках-то! А тут опять впереди огоньки вспыхнули. Дуняха на них и побежала. Бежит-бежит, а догнать не может. Так и добежала до Чусовой-реки, а уши уж на том берегу горят.

Ледок, конечно, тоненький, ненадежный, да разбирать не станешь. Свалила две жердинки легоньких, с ними и стала перебираться. Переползла с грехом пополам, ни разу не провалилась, хоть шибко потрескивало. Жердинки-то ей пособили.

Стоять не стала. Побежала за кошачьими ушами. Пригляделась все-таки к месту,— узнала. Песошное это. Рудник был. Случалось ей тут на работе бывать. Дорогу одна бы ночью нашла, а все за ушами бежит. Сама думает:

«Уж если они меня из такой беды вызволили, так неуж неладно заведут?»

Подумала, а огни и выметнуло. Ярко загорели. Так и переливаются. Будто знак подают:

«Так, девушка, так! Хорошо рассудила!»

Вывели кошачьи уши Дуняху на Поваренский рудник, а он у самой Думной горы. Вон в том месте был. Прямо сказать, в заводе.

Время ночное. Пошла Дуняха к своей избушке, с опаской, конечно, пробирается. Чуть где люди,— прихоронится; то за воротный столб притаится, а то и через огород махнет. Подобралась так к избушке и слышит — разговаривают.

Послушала она, поняла,— караулят кого-то. А ее и караулили. Старуху баушку приказчик велел в ее избушке за постоянным караулом держать.

«Сюда, думает, Дуняха явится, коли ей обратно прокрасться посчастливит».

Сам этот караул проверял, чтобы ни днем, ни ночью не отходили.

Дуняха этого не поняла. Только слышит — чужой кто-то у баушки сидит. Побоялась показаться. А сама замерзла, невтерпеж прямо. Вот она и прокралась проулком к тому парню-то Матвею, с которым до Косого Броду шла. Стукнула тихонько в окошко, а сама притаилась. Тот выбежал за ворота:

— Кто?

Ну, она и сказалась. Обрадовался парень.

— Иди,— говорит,— скорее в баню. Топлена она. Там тебя и прихороню, а завтра понадежнее место найдем.

Запер Дуняху в теплой бане, сам побежал надежным людям сказать:

— Воротилась Дуняха, прилетела птаха.

Живо сбежались, расспрашивать стали. Дуняха все им рассказала. В конце и про кошачьи уши помянула:

— Кабы не они, сожрали бы меня волки.

Мужики это мимо пропустили. Притомилась, думают, наша птаха, вот и помстилось ей.

— Давай-ко, — говорят, — поешь да ложись спать! Мы покараулим тебя до утра и то обмозгуем, куда лучше запрятать.

Дуне того и надо. В тепле-то ее разморило, еле сидит.

Поела маленько, да и уснула. Матюха да еще человек пять парней на карауле остались. Только время ночное, тихое, а Дуняха вон какие вести принесла. Парни, видно, и запоговаривали громко. Ну и другие люди, которые слушать приходили, тоже не утерпели: тому-другому сказать, посоветовать, что делать. Однем словом, беспокойство пошло. Обходчики и заметили. Сразу проверку давай делать. Того нет, другого нет, а у Матвея пятеро чужих оказалось.

— Зачем пришли?

Те отговариваются, конечно, кому что на ум пришло. Не поверили обходчики, обыскивать кинулись. Парням делать нечего — за колья взялись. Обходчики, конечно, оборуженные, только в потемках колом-то способнее. Парни и ухайдакали их. Только на место тех обходчиков другие набежали. Втрое либо вчетверо больше. Парням, значит, поворот вышел. Одного застрелили обходчики, а другие отбиваются все-таки.

Дуняха давно соскочила. Выбежала из бани, глядит — над Думной горой два страшенных синих огня поднялись, ровно кошка за горой притаилась, уши выставила. Вот-вот на завод кинется. Дуняха и кричит:

— Наши огни-то! Руднишные! На их, ребята, правьтесь!

И сама туда побежала. В заводе сполох поднялся. На колокольне в набат ударили. Народ повыскакивал. Думают — за горой пожар. Побежали туда. Кто поближе подбежит, тот и остановится. Боятся этих огней. Одна Дуняха прямо на них летит. Добежала, остановилась меж огнями и кричит:

— Хватай барских-то! Прошло их время! По другим заводам давно таких-то кончили!

Тут обходчикам и всяким стражникам туго пришлось. Известно, народ грудкой собрался. Стража побежала — кто куда. Только далеко ли от народа уйдешь? Многих похватали, а приказчик угнал-таки по городской дороге. Упустили — оплошка вышла. Кто в цепях сидел, тех высвободили, конечно. Тут и огни погасли.

На другой день весь народ на Думной горе собрался. Дуняха и обсказала, что в Сысерти слышала. Тут иные, из стариков больше, сумлеваться стали:

— Кто его знает, что еще выйдет! Зря ты нас вечор обнадежила.

Другие опять за Дуняху горой:

— Правильная девка! Так и надо! Чего еще ждать-то? Надо самим к людям податься, у коих этот Омельян Иваныч объявился.

Которые опять кричат:

— В Косой Брод сбегать надо. Там поди наши-то сидят. Забыли их?

Ватажка парней сейчас и побежала. Сбили там стражу, вызволили своих да еще человек пять сысертских. Ну, и народ в Косом Броду весь подняли. Рассказали им, что у людей делается.

Прибежали парни домой, а на Думной горе все еще спорят. Старики без молодых-то вовсе силу забрали, запугали народ. Только и твердят:

— Ладно ли мы вечор наделали, стражников насмерть побили?

Молодые кричат:

— Так им и надо!

Сидельцы тюремные из Косого-то Броду на этой же стороне, конечно. Говорят старикам:

— Коли вы испугались, так тут и оставайтесь, а мы пойдем свою правильную долю добывать.

На этом и разошлись. Старики, на свою беду, остались, да и других под кнут подвели. Вскорости приказчик с солдатами из города пришел, из Сысерти тоже стражи нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал, да скоро осекся. Видно, прослышал что неладное для себя. Стал ста-

риков тех, кои с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают,— сбежал ведь! Так его с той поры в наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался, а может, и попал в руки добрым людям — свернули башку.

А молодые тогда с Думной-то горы в леса ушли. Матвей у них вожаком стал.

И птаха Дуняха с ним улетела.

Про эту пташку удалую много еще сказывали, да я не помню...

Одно в памяти засело — про Дуняхину плетку.

Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Омельяна Иваныча бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху, да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком коньке, а конек такой, что его не догонишь. Налетит этак нежданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой — и нет ее. Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится и там какого-нибудь руднишного начальника плеткой уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может.

Камчой с лошади, известно, не то что человека свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки оставила. И все, сказывают, по делу. А пуще всего тем руднишным доставалось, кои молоденьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадила.

На рудниках таким, случалось, грозили:

— Гляди, как бы тебя Дуняха камчой не погладила.

Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз, да она, видно, на это счастливая уродилась, а в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают, и Дуняхи не видно станет.

Сколько в тех словах правды, про то никто не скажет, потому — сам не видал, а стрелку как поверить?

Всякому поди-ко не мило, коли он пульку в белый свет выпустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этот случай придумает. Против, дескать, солнышка пришлось, мошка в глаз

попала, потемнение в мозгах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору уколол. Ну, мало ли как еще говорят. Может, какой стрелок и приплел огненные уши, чтоб свою неустойку прикрыть. Все-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошел.

А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорили:

— Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет.

Так и не могло заводское начальство от Дуняхиной плетки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, сказывают, боялся, как бы Дуняха где его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала.

Зачем она с одной плеткой кинется, коли при барине завсегда обережных сила и каждый оборужен.

ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

Жил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горе́ держали, на Гумешках то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное,— гора. Сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу,— на Поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел, да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, говорит, на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.

Это в ту пору так делывали. Изробится человек, никуда его не надо, ну и отпустят на вольную работу.

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошел стараться, золото добывать. Привычное дело с землей-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживем без милостины.

А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.

Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки — мал мала меньше — за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.

Левонтию, однако, не потаили — сказали честь честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.

Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Все-таки стараются. Поробили так-то с неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру идти и на ребятишек сумки надевать. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам наказал:

— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперед ни к чему нам.

Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову-реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надергал пескозобишков, окунишков, и давай они ушку себе гоношить. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят — идет старик, заводской же. Семенычем его

звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную отправить — пороть, значит. А этот Семеныч не стал даваться, рожи которым покарябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, все-таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семеныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришел в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать. Шибко некорыстна была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живет потихоньку, одинодинешенек. Только стали соседи замечать — неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ними сидит. Думали,— может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал: «Не знаю, говорит, этого дела. И какое тут может леченье быть, коли такая ваша работа». Думали,— может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о пасхе да о рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кой-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад дает, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придет:

— Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, и подняться, видать, не можешь. — Однем словом, чудной старик. Чертознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошел этот Семеныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе:

— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.

Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать — до чего-де навариста да скусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-то, а Семеныч одно свое — ушку нахваливает, давно, дескать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели.

А тот знай похмыкивает:

— Давно так-то не едал.

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семеныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо да охо-хо. Под конец спросил:

— Сколь намыли?

Ребята говорят:

— Золотник, а может, поболе,— так тятенька сказывал.

Старик встал и говорит:

— Ну, ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то...— И Семеныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семеныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:

— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь, а я схожу — покучусь кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько.

И вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:

— Смотри, братко, не забудь, чтобы не бояться,— а у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает:

— Я, братко, не боюсь,— а сам помучнел весь.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг и отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат — в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-то Семеныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ем, штаны — все желтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зе-

леные и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семенычу шуткой так:

— Это вольны-то старатели? Что найдут, все заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семенычу, как советует с им:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?

Семеныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошие, а тот опять свое:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну, ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семеныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство — тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семенычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошел змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил.

Семеныч и объяснил ребятам:

— Это есть Великий Полоз. Все золото в его власти. Где он пройдет — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле и под землей, как ему надо, и места может окружить сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвел золото. А то вот еще... Найдут старатели хорошее, россыпное золото, ну и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют, и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил все то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось все по его-то кольцу. Попробуй найди, где он лежал.

Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:

— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?

Другой ему:

— А ты видел?

Договорились все-таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать, и стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:

— Надо за Рябиновкой у березы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.

Младший уговаривает:

— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за Рябиновкой. Тут все и откроется.

Поспорили так-то, пожалели, что Семеныча нет, посоветовать не с кем, и углядели — как раз по середке вчерашнего огневища воткнут березовый колышек.

«Не иначе это Семеныч нам знак оставил», — подумали ребята и стали на том месте копать.

И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.

ЗМЕИНЫЙ СЛЕД

Те ребята, Левонтьевы-то, коим Полоз богатство показал, стали поправляться житьишком. Даром что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то чтобы дом затейливой, а так — избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели, овечек до трех голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, что хоть в старости свет увидела.

А все тот старичок — Семеныч-от — настовал. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала, и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь с золотишком-то! На все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель поглядывает, купец, как коршун, зорит, и конторско начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся! Одним-то малолеткам где с таким делом управиться! Семеныч все им и показал. Однем словом, обучил.

Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть некорыстно, а намывают, видно... Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали.

Только заводское начальство углядело — неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка:

— К приказчику ступайте! Велел немедля.

Пришли, а приказчик на них накинулся:

— Вы до которой поры шалыганить будете? Гляди-ко — в

версту вымахал каждый, а на барина единого дня не рабатывал! По каким таким правам? Под красну шапку захотели али как?

Ребята объясняют, конечно:

— Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали...

— А вы,— кричит,— не думайте, а кажите актову бумагу, по коей вам воля прописана!

У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало, они и не знают, что сказать.

Приказчик тогда и объявил:

— По пяти сотен несите — дам бумагу.

Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги. Ну, те укрепились.

— Если,— говорит младший,— все наше хозяйство до ниточки продать, так и то половины не набежит.

— Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет куда. Да, глядите, не опаздывать к разнарядке! В случае — выпорю для первого разу!

Приуныли наши ребятушки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла:

— Ой, да что же это, детоньки, подеялось! Да как мы теперь жить станем!

Родня, соседи набежали. Кто советует прошенье барину писать, кто велит в город к горному начальству идти, кто прикидывает, на сколь все хозяйство вытянет, ежели его продать. Кто опять пужает:

— Пока, дескать, то да се, приказчиковы подлокотники живо схватят, выпорют, да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу!

Так вот и удумывали всяк по-своему, а того никто не домекнул, что у ребят, может, впятеро есть против приказчикова запросу, только объявить боятся. Про это, слышь-ко, и мать у них не знала. Семеныч, как еще в живых был, часто им твердил:

— Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине. Мать ли, жена, невеста — все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит, примерно, горная стража, обыскивать станут, страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут забоится, как бы сыну либо мужу худа не

вышло, возьмет да и укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут и человека загубят. И женщина та, глядишь, за свою неустойку головой в воду либо петлю на шею. Бывалое это дело. Остерегайтесь! Как потом в годы войдете да женитесь — не забывайте про это, а матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на языке-то — похвастать своими детоньками любит.

Ребята это Семенычево наставленье крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят — не знали.

Посудачили соседи, потужили да с тем и разошлись, что утречком, видно, ребятам на разнарядку выходить.

— Без этого не миновать.

Как не стало чужих, младший брат и говорит:

— Пойдем-ко, братко, на прииск! Простимся хоть...

Старший понимает, к чему разговор.

— И то,— говорит,— пойдем. Не легче ли на ветерке голове станет.

Собрала им мать постряпенек праздничных да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку.

Идут — молчат. Как дорога лесом пошла, старший и говорит:

— Прихоронимся маленько.

За крутым поворотом свернули в сторону, да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат: идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим струментом по дороге шлепает. Будто спозаранку на прииск пошел. Старанье на него накатило, косушку не допил! А этот Сочень у конторских в собачках ходил: где что вынюхать — его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а все не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонко. Хозяйка Медной горы уж сама его потом так наградила, что вскорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор... Прошел этот Сочень, братья перемигнулись. Мало погодя щегарь верхом на лошадке проехал. Еще полежали — сам Пименов на своем Ершике выкатил. Коробчишечко легонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал.

Этот Пименов по тому времени в Полевой самый отчаянный был — по тайному золоту. И Ершика у него все знали. Степня-

чок лошадка. Собой невеличка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую! Она, сказывают, двухколодешная была, с двойным дыхом. Хоть пятьдесят верст на мах могла... Догони ее! Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну, и хозяин тоже намятыш добрый был — один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут.

Ребята, как увидели этого рыболова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов, да и говорит, негромко все-таки:

— Иван Васильич, весы-то с тобой?

Купец видит — смеется парень, и тоже шуткой отвечает:

— В эком-то лесу да не найти! Было бы что весить.

Потом придержал Ершика и говорит:

— Коли дело есть, садись — подвезу.

Такая у него, слышь-ко, повадка была — золотишко на лошади принимать. Надеялся на своего Ершика. Чуть что: «Ершик, ударю!» — и только пыль столбом либо брызги во все стороны.

Ребята отвечают: «Нет с собой»,— а сами спрашивают:

— Где тебя, Иван Васильич, искать утром на свету?

— Какое,— спрашивает,— дело? Большое али пустяк?

— Будто сам не ведаешь...

— Ведать-то,— отвечает,— ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба откупаться собрались, то ли один сперва.

Потом помолчал, да и говорит, как упреждает:

— Глядите, ребята,— зо́рят за вами. Сочня-то видели?

— Ну, как же.

— А щегаря?

— Тоже видели.

— Еще поди послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас упредить.

— За то спасибо, а только мы тоже поглядываем.

— Вижу, что понаторели, а все остерегайтесь!

— Боишься, как бы от тебя не ушло?

— Ну, мое-то верное. Другой не купит — побоится.

— А почем?

Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвешь!

— Больше,— говорит,— не дам. Потому дело заметное.

Срядились. Пименов тогда и шепнул:

— На брезгу по Плотинке проезжать буду,— подсажу...

Пошевелил вожжами: «Ступай, Ершик, догоняй щегаря!» На прощанье еще спросил:

— На двоих али на одного готовить?

— Сами не знаем — сколь наскребется. Полишку все-таки бери,— ответил младший.

Отъехал купец.

Братья помолчали маленько, потом младший и говорит:

— Братко, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут — и только.

— То же и я думаю, да быть-то как?

— Может, так сделаем? Сходим еще к приказчику, покланяемся, не скинет ли маленько. Потом и скажем,— больше четырех сотен не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то поди за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.

— Так-то ладно бы,— отвечает старший,— да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется.

Тут младший и давай лебезить:

— Жеребьевка, дескать, чего бы лучше! Без обиды... Про это что говорить... Только вот у тебя изъян... глаз поврежденный... В случае оплошки, тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что — сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я бы тебя живо выкупил. Году не пройдет — к приказчику пойду. Сколь ни запросит — отдам. В этом не сумлевайся! Неуж у меня совести нет? Вместе поди-ко зарабатывали. Разве мне жалко!

Старшего-то у них Пантелеем звали. Он пантюхой и вышел. Простяга парень. Скажи — рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал,— ровно все-то его больше да умнее. Слова при других сказать не умеет. Помалкивает все.

Меньший-то, Костька, вовсе не на ту стать. Даром что в бедности с детства рос, выправился, хоть на выставку. Рослый да ядреный... Одно худо — рыжий, скрасна даже. Позаглаза-то его все так и звали — Костька Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали: «У Костьки не вся-

кому слову верь. Иное он и вовсе проглотит». А подсыпаться к кому — первый мастер. Чисто лиса, так и метет, так и метет хвостом...

Пантюху-то Костька и оболтал живехонько. Так все по-Костькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто нисхождение выхлопотал. Ему приказчик на Крылатовский прииск велел отправляться.

— Верно,— говорит,— твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дела. А людей, все едино, что здесь, что там, недохватка. Ладно уж, сделаю тебе нисхождение. Ступай на Крылатовско.

Так Костька и подвел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно и не думал продавать. Так только вид делал.

Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать наймовать, а боится — узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все-таки недоумка одного. Мужик большой, а умишко маленький — до десятка счету не знал. Костьке такого и надо.

Стал с этим недоумком стараться, видит — отощал песок. Костька, конечно, заметался: повыше, пониже, в тот бок, в другой — все одно, нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Костька и придумал на другой берег податься — ударить под той березой, где Полоз останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает,— перехитрил я Полоза.

На Костьку глядя, и другие старатели на этом берегу пытать счастья стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло — полно народу набилось. Пришлые какие-то появились.

В одной артелке увидел Костька девчонку. Тоже рыженькая, собой тончава, а подходященька. С такой по ненастью солнышко светеет. А Костька по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких не одна девка за того Костьку слезами умывалась, а тут что... приисковая девчонка. Костька и разлетелся, только его сразу обожгло.

Девчоночка ровно вовсе молоденькая, справа у ней некорыстна, а подступить непросто. Бойкая! Ты ей слово, она те-

бе — два, да все на издевку. А руками чтобы — это и думать забудь. Вот Костька и клюнул тут, как язь на колобок.

Жизни не рад стал, сна-спокою решился. Она и давай его водить и давай водить.

Есть ведь из ихней сестры мастерицы. Откуда только научатся? Глядишь — ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Костька сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.

— Замуж,— спрашивает,— пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно-благородно, по закону... Из крепости тебя выкуплю.

Она знай посмеивается:

— Кабы ты не рыжий был!

Костьке это нож вострый,— не глянулось, как его рыжим звали,— а на шутку поворачивает:

— Сама-то какая?

— То,— отвечает,— и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты — красный, ребятишки пойдут — вовсе опаленыши будут.

Когда еще примется Пантелея хвалить. Знала как-то его. На Крылатовском будто встретила.

— Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любо́й парень. Хоть один глазок, да хорошо глядит.

Это она нарочно — Костьку поддразнить, а он верит. Зубом скрепит на Пантелея-то, так бы и разорвал его, а она еще спрашивает:

— Ты что же брата не выкупишь? Вместе поди наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место.

— Нету,— говорит,— у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает!

— Эх, ты, — говорит, — шалыган бесстыжий! Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое поди?

Доведет так-то Костьку до того, что закричит он:

— Убью стерву!

Она хоть бы што.

— Не знаю,— говорит,— как тогда будет, только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый нет того хуже!

Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала да поласковее поглядела. Ну,

подарков она не брала... Даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет:

— Ты бы это Пантелею на выкуп поберег.

Костька тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает:

«Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоет...»

Люди, конечно, примечают:

— Что-то наш Рыжий распыхался. Видно, хорошо попадать стало. Надо в его сторону удариться.

Думают так-то, а испировать на даровщинку кто отопрется? Она — эта девчонка — тоже ничего. Плясать против Костьки вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло.

Думки своей все-таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку, а она уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:

— Ты, рыжий-бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?

Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.

— И не подумаю,— кричит.— Лучше все до копейки пропью!

— Ну,— говорит,— твое дело. Было бы сказано. Пропивать пособим.

И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась — не смигнет. С той поры и стал Костька такие гулянки чуть не каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно — полсотни человек допьяна поить. Приисковый народ на это жоркий. Пустяком не отойдешь, а то еще на смех поднимут:

— Хлебнул-де из пустой посудины на Костькиной гулянке — неделю голова болела. Другой раз позовет, две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет?

Костька, значит, и старался, чтоб вино и там протча в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорехонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит:

— Что-то, хозяин, ровно вовсе не блестит на смывке-то.

Ну, а та девчонка знай подзуживает:

— Что, Рыжий, приуныл? Каблуки стоптал — на починку не хватает?

Костька давно видит — неладно у него выходит, а совладать с собой не может.

«Погоди,— думает,— я тебе покажу, как у меня на починку не хватает».

Золотишка-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своем же огороде, во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной... Тут и бросали. Ну, место хорошо запримечено было, до вершков все вымерено. В случае, и горной страже прискаться нельзя. Ответ тут бывалый:

— Самородное, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где — в огороде!

Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная, только вот брать-то из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банешкой посажены были, камни кучкой подобраны. Однем словом, загорожено.

Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял, где надо, верхний слой, нагреб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыл окошко, зажег фонарь, стал смывать, и ничем-ничего — ни единой крупинки. Что, думает, такое? Неуж ошибся? Пошел опять. Все перемерял. Нагреб другую бадью — даже виду не показало. Тут Костька и остерегаться забыл,— с фонарем выскочил. Оглядел еще раз с огнем. Все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька еще глубже взял — та же штука: чуть блестит. Костька тут вовсе себя потерял. Давай дудку, как на прииске, бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось,— камень-сплошняк оказался. Обрадовался Костька, через камень небось и Полозу золота не увести. Тут оно где-нибудь, близко. Потом вдруг хватился:

— Ведь это Пантюшка украл!

Только подумал, а девчонка та, приисковая-то, и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высоконькая да пряменькая, стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась.

— Что, Рыжий, потерял, видно? На брата приходишь? Он и возьмет, а тебе поглядеть осталось.

— Тебя кто звал, стерва пучешарая?

Схватил ту девчонку за ноги да что есть силы и дернул на себя, в яму. Девчонка от земли отстала, а все пряменько стоит. Потом еще вытянулась, потончала, медяницей стала, перегнулась Костьке через плечо, да и поползла по спине. Костька испугался, змеиный хвост из рук выпустил. Уперлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит.

Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит, где каплями, где целыми кусками. Много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер отчего-то Костька.

На похороны с Крылатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул — с золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишь, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил — выкупит брат. Пошел поглядеть. Нагнулся над дудкой, снизу ему ровно посветил кто. Видит — на дне-то как окно круглое из толстого-претолстого стекла, и в этом стекле золотая дорожка вьется. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженька, а глаза чернехоньки, да такие, слышь-ко, что и глядеть в них страшно. Только девчонка та ухмыляется, пальцем в золоту дорожку тычет: «Дескать, вот твое золото, возьми себе. Не бойся!» Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух.

Пантелей испугался сперва: наважденье, думает. Потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казенном прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему. Знал, как его берут. Вот и думает:

«Дай-ко попытаю. Может, и всамделе золото тут».

Притащил, что подходящее, и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно — в камне золото и не то что искорками, а большими каплями да гнездами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера-то Пантелей чистым золотом фунтов пять либо шесть набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился.

— Так и так, желаю на волю откупиться.

Приказчик отвечает:

— Хорошее дело, только мне теперь недосуг. Приходи утречком. На прохладе об этом поговорим.

Приказчик по Костькиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтоб побольше выжать. Только тут, на Пантелеево счастье, рассылка из конторы прибежал и сказывает:

— Нарочный приехал. Завтра барин из Сысерти будет. Велел все мостки на Полдневную хорошенько уладить.

Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею:

— Давай пять сотенных, а по бумаге четыре запишу.

Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал.

«Рви,— думает,— собака, когда-нибудь подавишься».

Вышел Пантелей на волю. Поковырялся еще сколько-то в ямке на огороде. После и вовсе золотишком заниматься перестал.

«Без него,— думает,— спокойнее проживу».

Так и вышло. Хозяйство себе завел, не сильно большое, а биться можно. Раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился.

Ну, он кривенький был. Невесту без затей выбрал, смиренную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили.

На другой день после венца-то молодая поглядела на свое обручальное кольцо и думает:

«Как его носить-то. Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое поди. Еще потеряешь».

Потом и говорит мужу:

— Ты что же, Пантюша, зря тратишься? Сколько кольцо стоит?

Пантелей и отвечает:

— Какая трата, коли обряд того требует. Полтора рубля за колечко платил.

— Ни в жизнь,— говорит жена,— этому не поверю.

Пантелей поглядел и видит — не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку — и там вовсе другое кольцо, да еще в серединке-то два черных камешка, как глаза горят.

Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку, которая ему золотую дорожку в камне показала, только жене об этом не сказал: «Зачем, дескать, ее зря тревожить».

Молодая все-таки не стала то кольцо носить, купила себе простенькое. А мужику куда с кольцом? Только и поносил Пантелей, пока свадебные дни не прошли.

После Костькиной смерти на прииске хватились:

— Где у нас плясунья-то?

А ее и нет. Спрашивать один другого стали — откуда хоть она? Кто говорил — с Кунгурки пристала, кто — с Мраморских разрезов пришла. Ну, разное... Известно, приисковый народ, набеглый... Досуг ему разбирать, кто ты да каких родов. Так и бросили об этом разговор.

А золотишко еще долго на Рябиновке держалось.

ЖАБРЕЕВ ХОДОК

В Косом-то Броду, на котором месте школа стоит, пустырь был. Пустополье большенькое, у всех на виду, а не зарились. Нагорье, видишь. Огород тут разводить хлопотно — поту много, а толку мало. Ну, люди и обегали. Всяк выбирал себе полегче да посподручнее.

А раньше-то, сказывают, тут жилье было. Так стрень-брень избушечка, на два оконца, передом напрочапилась, ровно собралась вперевертышки под гору скакать. Огородишко тоже, банешка. Однем словом, обзаведенье. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избушку знали.

Жил тут старатель один. Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с технической. Молодым впору такого дедком звать, а еще в полной силе. На работе редкий против него выдюжит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером — не задень. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали.

Этот Жабрей в одиночку больше старался, места новые искал и, случалось, находил. Придет тогда в деревню и сам скажет:

— Вот, мужики, там-то попадать золотишко стало.

И верно, стараться можно. Когда и вовсе ладно. Только за Жабреем еще одну тайность знали. Не один раз он при больших деньгах бывал. Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Никите приходили, а по народу разговор шел, что он тай-

ным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну стать: как лапоточки, ростом махонькие, а веские. И то еще диво — как по ступенькам на прибыль шли: сперва были по фунтику, потом больше да больше, а стать одна — лапоток!

Тайные купцы, да и старатели тоже, сильно охотились поглядеть, в каком месте Жабрей такие лапоточки добывает, да толку не выходило. Никита, видишь, знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглядчиков, а как темно станет — он в лес. Найди-ко, в какое место за ночь он по лесу уберется.

К Жабреевой жене подсыл делали, а тоже зря. Жабреиха, видишь, как раз мужу под стать. Старуха, прямо сказать, колючая, без рукавиц к ней не подходи, и на разговор крутая. Кто без заделья придет, так она дальше порогу и в избу не пустит. Не успеет человек усы расправить да вымолвить:

— Здравствуй, бабушка!

А она его торопит:

— Еще что скажешь? По какому делу пришел?

Тот, понятно, курлыкает:

— Как, мол, живете-можете со старичком-то? Все ли по-хорошему?

— А так,— отвечает,— и живем: в люди не ходим, к себе не зовем, а незваного по рылу помелом.

Поговори вот с такой!

Какие бабеночки с заделъем подбегали, будто взаймы перехватить того-другого по хозяйству, с теми по-разному обходилась. Иной раз сразу отрежет:

— Не припасла про тебя, и напредки ко мне не ходи!

Другой без отказу дает, что попросит. Мучки там, маслица, картошечки либо еще чего и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова все равно не скажет. Только гостьюшка пристроится посудачить, Жабреиха таз да вехотку в руки и говорит:

— Беги-ко, Степаня, домой! Ребята ведь у тебя. Дела-то побольше моего. Я вон и то мыть собралась, а ты сидишь, будто от простой поры!

Так и жили Жабрей с Жабреихой от людей на отшибе.

Случалось, конечно, Жабрею и в артелках стараться. Это когда он новое место укажет. С почтеньем его принимали. Работник без укору, не то что за двоих, за троих ворочает и по

золоту знающий — кто такому откажет. Только не подолгу он на людях жил. Чуть что выйдет — сейчас в сторону. На артели, известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенство какое откроется, поучить, может, кого требуется, а Жабрею это невперенос. Послушает, как народ загамит, да и выронит свое словечушко:

— Загудело, комарино болото! Слушай, кому охота, а мне не с руки!

Скажет так-то, плюнет, подхватит кайлу да лопатку, ковш да мешок за спину — и пошел. Коли получка есть,— и то не покажется.

Раз так-то ушел — и надолго. В живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троицкой воде, как все ручейки на полную силу играют, выплыл.

Год тогда, сказывают, худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе невесело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекают, к кому бы припаиться на стаканчик, да тут и увидели — по полевской дороге идет Жабрей, и все на нем новешенькое. Примета ясная — при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет.

Так и вышло. Первым делом зашел Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальничихе:

— Цеди, Ульяна, всем допьяна! Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал. Гляди — вот она!

А сам сыплет да сыплет рубли.

Народ знал, что Никита начистоту гуляет, до последнего рубля и без покору,— живо со всей деревни сбежались. Иные, конечно, с простоты: почему-де не выпить, коли наливают, а больше того с хитрости: про себя думают, не распояшется ли Жабрей, не проговорится ли о местечке, где золотые лапоточки плетут. Только Жабрей свою меру знал. Выпьет, сколько ему надо, сыпнет еще на стойку и накажет целовальничихе:

— Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам, бабам — красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют — доплачу, не допьют — твой барыш. С утра по другому расчету пойдет.

Целовальничиха рада-радехонька, на четыре стороны развертывается: одной рукой наливает, другой — рубли загребает,

Жабрею кланяется: дескать, все сделано будет, а сама мужу шепчет:

— Гони-ко, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит.

Из кабака Жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. Торгаш тоже дошлый был. Деревнешка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, из того числа, что деревенскому человеку вовсе ни к чему.

Никита из этого товару обнов наберет своей старухе. Ну, шаль ковровую, как полагается, башмаки с пряжкой, шелку цельный кусок, еще что поглянется. Себе тоже обнов накупит и говорит торгашу:

— Снеси моей старухе. Никита, мол, Евсеич кланялся и велел сказать: жив-здоров, скоро домой придет. Пущай капустных пельмешков настряпает да кваску наготовит. Не меньше двух жбанов.

Торгаш убежит, а Никита в лавке сидит, дожидается. Потом спрашивает:

— Ну что?

— Да ничего,— отвечает,— отдал.

— Что старуха говорит?

— Взяла,— отвечает,— обновы, в угол бросила, а ничего не сказала.

Никита не верит:

— Не может этого быть, чтоб мужнино подаренье без слов приняла.

Торгаш тогда и говорит:

— Три только слова и было.

— Какие,— спрашивает,— слова?

— А как приняла обновы, вздохнула и молвила: «Ох, старый дурак!»

Никита смеется:

— Верно говоришь! Старухин обычай. Все, значит, в добром здоровье. Торопиться некуда. Давай ребят потешим маленько. Тащи решетку!

Торгаш уж знает дело. Притаскивает руднишную решетку и спрашивает:

— Сколько велишь навешать и каких?

— Сыпь на глазок, с верхом! Всякого сорту, только в бумажках, гляди, а голых не надо!

Торгаш, конечно, без мошенства не может. Какие конфетки подешевле, тех сыплет больше, а которые подороже — тех самую малость, а считает наоборот. Ну, Никита к тому не вяжется. Отдает деньги и выходит с решеткой на крылечко, а ребята со всей деревни сбежались. Только у крылечка не стоят, а поблизости игры завели: кто — в бабки, кто — шариком, девчонки — опять в свои игры. Они, видишь, знали Жабрееву повадку: коли увидит, что его ждут, назад решетку унесет. Ребята и прихитрятся, будто ничем-ничего не знают, а просто играть сбежались.

Никита видит — не ждут его, и давай горстями во все стороны конфетками швырять. Ребята, конечно, конфетку не часто видали, кинутся подхватывать — свалка тут пойдет. Коли по нечаянности кого сшибут либо лбами стукнутся — Жабрей ничего,— смешно ему, а коли расстервенятся и до драчишки дело дойдет,— тут зубами скрипнет, бросит решетку и вымолвит:

— От комаров, видно, комарята и родятся!

Потемнеет весь — и домой. Заберется на свою горушку, пристроится на завалинке и заведет голосянку. И тут к нему не подходи: всякого сшибет. Одной старухе свободно.

В деревне по случаю Жабреевой гулянки шум да гам, песни поют, пляски заведут, а Жабрей сидит на горушечке да тянет одно:

— Комары вы, комары, комарино царство.

Ночью уж старуха уведет его в избу, а проспится — с утра все по порядку. Сперва в кабак, потом обновы старухе покупать и ребятам конфетки разбрасывать. У старухи, бывало дело, полный угол обнов накопится. Потом, как денег не станет, тому же торгашу за десятую копейку сдавала. За которое плачено полсотни — за то пятерку, за которое десятка сорвана — за то рубль.

Когда у ребят дележка без драки пройдет, в тот день Жабрей до вечера по деревне гуляет. С другими старателями песни поет, пляшет тоже, а домой все-таки один идет, никого ему не надо. Если кто и вовсе подладится к Жабрею, все равно откажет:

— Друг ты мне, а на горушку ко мне не ходи! Не люблю.

Так и шла гулянка, пока все деньги не выйдут. Только на этот раз с первого дня другой поворот вышел.

Вынес Никита решетку с конфетками, стал разбрасывать. А в ребятах случился парнишко один. Дениско Сирота его звали. Годами еще молоденький, а долговязый. Другие парнишки, его-то ровня, дразнили:

— Дениско, переломись-ко, вровень пойдем!

По сиротству этот парнишко давно в песковозах ходил и по росту за большого считался. Ну, все-таки молодой умок — ему любопытно поглядеть на Жабрееву гулянку. Дениско и подобрался поближе к лавочному крылечку и тоже будто с ребятами играет. Как все кинулись на подхват конфетки ловить, Дениско стоит и смотрит. Никита увидел, кричит ему:

— Ты, долган, что не ловишь?

И бросает ему целую горсть. Другие ребята налетели, а Дениско отодвинулся маленько, чтоб его с ног не сшибли. Никита тогда и спрашивает:

— У тебя, Дениско, что? Спина болит?

— Нет,— отвечает,— спина не болит, а не к чему мне это. Я поди-ко большой.

— А коли большой,— говорит Никита,— ступай в кабак. Выпей за мое здоровье хоть красного!

— Мне,— отвечает,— мамонька перед смертью наказывала: «До полной бороды в рот капли вина не бери, а дальше, как знаешь».

Никита удивился:

— Вон ты какой! На, не то!— и бросает ему сколько-то серебряных рублевиков. Только Дениско их не поднимает да еще говорит:

— Милостинку теперь не собираю. Вырос — свой хлеб ем.

Никита, конечно, разгорячился. Заревел на других ребятишек:

— Отойди в сторонку! Сейчас погляжу, какая у этого гордыбаки сила!

Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Денииском. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит:

— Сказал — милостинку не собираю, а с собачьего бросу и подавно.

Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на

Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу — вывернул самородку,— фунтов, сказывают, на пять,— и хлоп эту самородку под ноги Денису, а сам кричит:

— Не хвастай через силу! Это ты у меня подымешь!

Ну, Дениско,— то ли он такой упорный пришелся, то ли цены настоящей самородку не понимал, не поднял. Поглядел только да сказал:

— Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо.

Повернулся и пошел. Никита опамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку и кричит Денису:

— Тебе хоть что надо?

— Ничего,— отвечает,— не надо. Поглядеть приходил, как ты перед народом удачей хвастаешь.

Никите обидно, что парнишко его укорил, а смолчал. Маленько погодя кричит вдогонку:

— Дениско, воротись-ко!

А ребята подхватили:

— Дениско, переломись-ко! Дениско, переломись-ко!

Дениско ничего, подошел спокойно. Тогда Никита и говорит ему потихоньку, чтоб другие не слышали:

— Ты, парень, прибеги-ко ко мне утречком, как вовсе трезвый буду. Может, я тебе скажу про мурашину тропку, а дальше сам за себя отвечай. Коли пустят тебя каменны губы, так салку нехитро на горячую либо на мокрую отворотить. Тогда и лапотков добудешь.

— Ладно,— отвечает,— дядя Никита. Спасибо скажу, коли дорогу укажешь.

— Это,— говорит Никита,— не за спасибо, а за то, что жадности в тебе не видно. Давно такого присматриваю.

Поговорили так и разошлись, а больше им свидеться не довелось.

Жабрей после этого случаю сразу к себе на горушку уплелся. Потихоньку шел, вроде крепко задумался и про комаров в этот день голосянку не тянул. Видели люди,— он со старухой на завалинке сидел. Долго сидели, как молодожены какие, и о чем-то судили да дружно так. Деревенские прямо диву дались:

— Глядите-ко, Жабрей с Жабреихой наговориться не могут. Не иначе перед смертью.

Шутили, конечно, а так оно и вышло. Наутро прибежал Дениско к Жабрею и видит — все двери полехоньки, а в сенках и в избе все в полном разбросе: кое опрокинуто, кое перевернуто, кое в щепы разбито. Посередке избы тяжеленный лом-черемуха, а людей никого нет.

Дениско забеспокоился, побежал в деревню, рассказал, так и так, неладно у Жабреев. Народ, хоть с похмелья, сразу побежал на горушку. Стали разглядывать, как да что. По начальству дали знать. Ну, разобрать толком не могли. Одно видно — воевали тут крепко, в потемках почем зря хлестали и в голбце рылись, а одежу не пошевелили и обновы, как бросила их старуха в угол, тут и лежат. Крови не оказалось, и следов на земле около избы не видно. Место, видишь, плотик да камень, следов оно не держит. И то сказать, вся деревня сбежалась, что и было — все затоптали.

Начальство, понятно, караул к пустому месту поставило и давай народ доспрашивать, кто что сказать мог.

На то выходило, что из деревенских завинить некого: кто в ту ночь вовсе без гач пьяный лежал, кто у других на глазах был. И на то намекали, что хитники из Кунгурки приходили, потому — тамошного тайного купца подручников в деревне видели. Многие на того купца доказывали, как он не раз людей подговаривал за Никитой подглядывать. Только разве такого завинят, коли все начальство им задарено?! На то повернули, что Дениско Сирота первый тому был подводчик. Ему, дескать, Никита деньги и самородку показывал, и не зря этот парнишко утром тут оказался.

Подлость, конечно, а взяли парнишка в острог, да и мытарили там сколько-то годов. Купца, значит, тем выгородили и будто свое дело сделали — виноватого нашли. Привычно им так-то вертеться было.

В деревне про Дениска скорехонько забыли. Приисковый народ, известно, не больно на людей памятлив. Мало ли с кем случается сбегаться. Своих у Дениска не было,— кто о нем печалиться станет. А он сидит в остроге да думает — вот найдут Жабреев, и все по правде откроется.

Ну, все-таки Дениска выпустили. Вовсе большим он в деревню пришел. Первым делом ему охота узнать, что про Никиту с женой слышно и кто в их избушке живет. Спросил, а никто не знает, и на горушке званья от жилья не осталось. Из-

вестно, бесхозяйственный дом недолго стоит, живо его разнесут, а тут еще припомнили, что хитники в голбце чего-то искали. Ну, и давай тоже рыться. Все перерыли, и на месте Жабреева обзаведенья стал пустырь с ямами.

Дениску это обидно показалось. Вот, дескать, знающий по золоту человек был. Богатства не нажил, все людям раструсил. Места новые показывал. И старуха худого людям не делала, а только и осталось, что пустопорожнее место с ямами.

Пошел на горушку, сидит там да раздумывает. И то ему на память пришло, что Никита говорил, когда к себе звал.

«Про какую это мурашину тропку он сказывал? И что это за каменны губы?»

Думал-думал, на том решил:

«Мурашиных тропок мало ли. Кто их разберет, которую надо, а каменны губы поискать можно. Не набегу ли ненароком?»

Надумал так, да тут и углядел — у самой мурашиной тропки сидит. Тропка как тропка. Мурашики по ней ползут, только все в одну сторону, а встречных не видно. Дениску это любопытно показалось.

«Дай,— думает,— погляжу, в каком месте у них хозяйство».

Пошел около этой тропки, а она куда-то вовсе далеко ведет. И то диво — мурашики будто больше стают, и как где место пооткрытее, там видно, что на лапках у них вроде искорок. Что за штука? Взял одного, другого, посмотрел. Нет, ничего не видно. Глаз не берет. Пошел дальше и опять примечает: растут мураши на ходу. Опять возьмет которого в руку и давай разглядывать. Видно стало, что на каждой лапке как капелька маленькая прильнула. Дениску это вовсе удивительно, он и шагает вдоль тропки. Так и вышел на полянку, а там из земли два камня высунулись, ровно ковриги исподками сложены: одна снизу, другая сверху. Ни дать ни взять — губы.

Мурашиная тропка как раз к этим губам и ведет, а мураши, как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять: такие они большие стали. А на лапках явственно разглядеть можно, как лапотки надеты. Подойдут к каменным губам — и туда. Ходок, видно, есть.

Денис подошел поближе поглядеть, и каменны губы широко раскрылись, дескать, ам! Денис испугался, понятно, отскочил, а губы не закрываются, будто ждут, и мураши идут сво-

ей прямой дорогой прямо в эти губы, ровно ничего не случилось. Денис осмелел маленько, подошел поближе, заглянул, что там, и видит — место туда скатом крутым идет, вроде катушки, только самой вязкой глины. Прямо сказать, плывун, чистая салка. По этому плывуну мураши и то еле пробираются. Нет-нет, и лапотки свои оставляют, только не одинаково. У иных салка сразу их снимет, и дальше тот мураш легонько идет. Другой ниже спускается и прямо на виду в росте прибывает. Вошел, скажем, в каменны губы ростом с большого жука, а шагнул дальше — вырос с ягненка, еще ниже подался — стал с барана, с теленка, с быка. Дальше и вовсе гора горой ползет, и лапти у него, может, по пуду, а то больше. Пока лапти в салке не оставит, потихоньку идет, а как снимет все до одного, так и пойдет скользить не хуже плавунца, и в росте больше не прибывает.

Денис понял тогда, из какого места золотые лапотки приходили, только-то ему невдомек, как Никита этой страсти — больших-то мурашей — не боялся. Подумал так, а мураши и стали один по одному уходить, и новых к каменным губам больше не подходит.

«Вон,— думает,— что! Перемежка, видно, тоже бывает, а вот надолго ли?»

Про лапотки он так понял, что их можно прямо рукой из салки добыть. Дениса и потянуло попытать свою долю,— хоть сверху маленько порыться. Только и то смекает, как по такому крутику без каелки обратно выбраться. Он и стал искать, нет ли поблизости коряжинки либо жердинки суковатой, да и углядел в кусте бадейку. Небольшая бадейка, а широконькая. Тут дровца наготовлены, около них каелка да две лопатки: одна железная, другая деревянная.

Денис по приискам с малых лет мытарился, понял — к чему это. Забрал лопатки, кайлу, бадейку, дровец тоже охапочку на поясе прихватил, подошел к каменным губам, а они и закрылись. Как два камня один на другом лежат, и никакого ходу тут не бывало.

Запечалился Денис, а что сделаешь? Кайлой такие камни не разворотить. Хотел он обратно в кусты все составить, да губы опять и открылись. Широко так и будто пошевеливаются — ам! ам! Ну, Денис не струсил, раздумывать не стал — сразу вниз полез. В салке, конечно, лапотков золотых не оказалось,

они ниже, в песках загрузли, только добраться до них, кто умеет, недолго. Салку, известно, у нас на горячую железную лопату берут, а того лучше, на мокрую деревянную — так блином и поддевай. Денис живо привесился, очистил место и давай из песка золотые лапотки выковыривать. Много нарыл больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стает, губы закрываются. Денис и смекает:

«Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите на помин, другую себе — и хватит».

Надумался так — губы и раскрылись — выходи, дескать.

С каелкой по какому хочешь скату вылезти просто.

Прихватится, подтянется — и дальше. Вылез Денис и всю орудию на старо место поставил. Один лапоток, который поменьше, в сапог запрятал, а другой, точь-в-точь такой, как у Никиты видел, за пазуху сунул и сразу в Кунгурку пошел.

Нашел там тайного купца, про которого разговор был, подкараулил в тихом месте и спрашивает:

— Хочешь к паре купить?

Достал из-за пазухи лапоток, да и показывает из своей руки. Купец, понятно, обрадовался:

— Почем золотник?

Денис и говорит:

— Даром отдам, коли укажешь, куда Никиту со старухой запрятал.

Купца, видно, жадность одолела, не поостерегся и говорит:

— У Мраморского разреза, в старый ширф сбросили.

— Показывай!— говорит Денис.

Пошли. Указал купец:

— Это место!

— Получай тогда!— Денис развернулся и хлоп купца самородкой по лбу.

Самородка-то — она фунтов на пять была. Понимай, что́ выйдет, коли такой штукой по лбу свистнуть да еще с полной охотой.

Вскорости этого купца нашли, и золотой лапоток рядом положен — дескать, этой печатью приложено.

Потом из-за этой золотой печатки чуть всех судей не засудили. Каждый, видишь, хотел ее себе прикарманить, а другие не давали, жаловались по начальству — такой-то, дескать, вор, грабитель, его по всей строгости судить надо. До той поры это

дело тянули, пока до главного судьи не дошли. Тот, понятно, сразу решил.

— Надо,— говорит,— мне эту печатку домой свозить, кислотой опробовать,— точно ли золотая?

Увез золотой лапоток и сразу его в потайной сундук, а сам взял от старого подсвечника обломок, почистил его маленько, привез обратно и говорит:

— И рядом с золотом эта штука не лежала.

Все, конечно, видят,— на глазах мошенство сделано, да жаловаться на главного судью не посмели. А он радуется, про себя похваляется:

— Ловко я их обставил! Недаром, видно, меня главным судьей поставили.

Приехал домой и первым делом полез в потайной сундучок, а его, видно, проел червячок: ничего нет. Хвать-похвать — найти не может. Был золотой лапоток, а стала сквозная дырка. В горсть ее не возьмешь.

И Дениса тоже, сколько ни искали, найти не могли. Он, видно, в Сибирь либо куда в другое место подался.

О каменных губах маленько разговаривали, в котором то есть месте искать их. На то намекали, что близко Денисовского рудника, только настояще не знаю.

Чего не знаю, того не знаю, выдумывать не согласен. Привычки к этому нет.

ЗОЛОТЫЕ ДАЙКИ

Кто-то сказывал, что дайки — чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится, только наши березовские старики смехом смеялись, как такое услышали.

— Какое же,— говорят,— чужестранное, коли чисто по-нашему говорится и у здешних раньше в словинку входило. Вроде заклятья его берегли. Не всякому из своих сказывали. Как дойдут до настоящей породы, так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку. Пустяк, конечно. Пустословье одно, вроде ребячьей приговорки, да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след ее чужим людям отдавать. Себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке, вся маета первых золотых добытчиков завязана. Поворошить такое — старикам услада, молодым — наученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже небось и рук не жалели, и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и не поймешь сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется, а ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло. Как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться.

Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той яме золотые комышки. Вроде и просто, а как подумаешь,— большая это редкость, чтоб в здешнем жильном золоте отдельно комышек найти. Золото у нас поди-

ка полосовое, полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Посвободнее маленько только в жилках, кои те полосы пересекают. Наши старики, как потом научились эти поперечные жилки выковыривать, приметку оставили:

«В которой жилке турмалин блестит либо зеленая глинка роговицей отливает, там золота не жди. А вот когда серой припахивает либо игольчатник-руда пойдет, айконитом-то которую зовут, там, может статься, комышек готовенького золота и найдешь».

Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не навыкли. Видимость только делали, будто что разумеют.

Ну, вот... Нашел Ерофей Марков золота, принес по начальству, честно указал место, а стали искать — даже званья не оказалось.

Как быть? Пришлось нашему первому золотодобытчику голову на плахе держать да под палачевским топором клясться-божиться:

— Места не утаил, а куда подевалось золото, того не ведаю.

А ему обещают:

— Как в срок не укажешь место, голову отрубим.

При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо кого просить-молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому что подойдет.

Не один Ерофей из-за золота сна-покою лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались: мне бы! Разговоры всякие про золото пошли. Которое, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло.

Ерофей-то из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое что ни есть кержацкое гнездо было свито. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных концов. Иные, сказывают, с Выгорецких каких-то пустынь, другие — с Керженца-реки. Этих, видно, больше, потому шарташских и прозвали кержаками. Скитов, мужских и женских, порядком тут поставлено было. И все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели.

Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут, тоже хлебушко едят и от медку не оказываются. Вот они и давали народу ослабу.

Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивей.

Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался:

— Они вас живо под печать антихристову подведут. Не смигнешь — припечатают!

Ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ, хоть в потемках ходил, разумом не обижен: скитников-начетчиков слушал, а про себя то соображал, что ему лучше. Как стали в здешних местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку имеют. Скитники забеспокоились, зашипели:

«Кто с городскими свяжется, тому царства божьего не видать».

Только ведь не зря говорится: «Который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет». А тут, считай, вовсе большой по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну как — реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб якоря ковать, ядра лить, посуду делать. Каменное дело тут же. Шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятием грозить стали. Иные, понятно, испугались, а которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком зацепит, того не выпустит. Нашел один комышек, стал другой искать, а там третий где-то близко. Его найти непременно надо. Так и пошло. Скитникам это не любо, а проклинать все-таки боятся: если этого не проймешь, с другими сладу не будет. Ерофей это по-своему понял: притерпелись старики. После этого он и сторожиться не стал, а они за ним неотступно доглядывали. Как нашел Ерофей золото, скитники живо это пронюхали и шум подняли.

— Гляди-ко, что Ерофейко наделал! Золотого змея из земли выпустил! Погибель скитам нашим! Погибель! Набегут брито-

усы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял!

Ну, нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью к яме вывезли возов десяток чего попало и завалили место. Скитники одно приговаривают:

— Вали больше, чтоб золотому змею ходу не было!

Немцам, коим доверили оглядеть Ерофееву яму, эта скитническая дурость к руке пришлась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что! Поковырялись для видимости, нашли вовсе другое, чему тут не место, да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шарташские радуются: отвели беду, сохранили пустыню.

Только и в Шарташе не все так думали. Нашлись такие, что по-другому поняли и начали перешептываться:

— Ерофей-то, верно, золото нашел. Попытаться бы кругом того места. Может, и нам покажется. С золотом и пустыню можно побоку. Пусть, кому надо, за нее держится, а нам и без нее не тоскливо.

Скитники-начетчики прослышали, грозятся:

— Проклянем, кто посмеет Ерофейкин погибельный путь торить!

Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали. Недаром слово молвлено: старому с молодым и во сне не по пути — разное грезится. Сколько старики ни угрожали, у молодых Ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около Ерофеевой ямы всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел. Кто опять виловище выбирает, а оно у той же ямы выросло. Скитники видят,— не пособиться им без самой большой острастки, собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть:

— Кто станет около Ерофейкиной ямы топтаться, того из Шарташа выгоним и семью не пощадим!

Про то скитники, видно, забыли, что пугать все-таки с опаской надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем раньше и не думали.

В Шарташе в ту пору жила одна семья — семь братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитай, сколько народу! Братья это понимали и крепко не любили, чтоб им кто

грозил. Насчет Ерофеевой ямы у них до того и в помыслах не было, а как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Скитники узнали, понесли на братьев: они в вере не тверды. Так, сказывают, и было. Братья без своих стариков жили, досматривать за чином-обрядом некому было, они и обходились с божественным простенько: досуг — помолятся, недосуг — и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на примете значились, да подступить к ним боялись, а тут сгоряча и налетели. Братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили:

— Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в Ерофеевой яме, и про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный поди был, место хорошо заметил, а стали копать — ничего не оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую?

Сами, понятно, знали, кто и сколько возов вывез, чтоб следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чуют, к чему клонится, вой подняли:

— Веру потоптали! Городским табашникам продались! Выгнать всех из Шарташа! Чтоб и духу не осталось!

Братья на дыбы.

— Попробуй! Скиты разнесем!

За скитников, понятно, заступились, и за братьев тоже.

Шарташ и закачался,— на две стороны пошел. В задор люди вошли. Всяк свое доказать хочет. От скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный, а на разговор скупой. Слово-то у него по праздникам услышишь, а тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из семерых братьев жена в скиты сбежала: испугалась стариковских слов.

С этой свары и стали по-настоящему золото искать. Перфил, у которого жена-то от греха в скиты ударилась, так и объявил:

— Жив не буду, а золото найду! Тут оно где-нибудь!

За этим Перфилом другие потянулись, принялись землю ворошить. Все-таки от той ямы, кою Ерофей раскопал, далеко не уходили. Разговоров про золото еще больше стало. Всяк посвоему судит, как его искать, да от какой причины оно в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея.

Однем словом, неразбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиску отставать стали. Другие, наоборот, еще усерднее за рытье принялись. Глядишь, то один, то другой и наскочит на породу с золотой искрой. Блистит въяве, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчею на речке поставило. Стали ту породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, только всем видно стало,— есть в той породе золото и добыть его можно.

Народу все-таки охота добраться до тех золотых комышков, какие Ерофей нашел. Ну, никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте яму рыть.

Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра. Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихов у нее хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился: выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. Тут вот и подвернулся Вавило Звонец. Мужичонко, прямо сказать, незавидный. Из таких, кои больше всего любят по заваливкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобны, чтоб языку пособить: где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавило, как говорится, города брал. Кого хочешь заставит уши развесить.

Этот Вавило Звонец и подсыпался к Михеевой сестре. На ту пору у него беда приключилась: жена умерла. Ребят хоть не осталось, а все-таки вдовцу несладко жить. Вавило, значит, и стал напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж выскочила. Скитники-начетчики побаивались, конечно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали-подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать:

— Больше ко мне на глаза не кажись!

У Глафиры со Звонцом доли не вышло. Известно, сколь жена ни колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила, впроголодь-то ей живо наскучило. Она и говорит мужу:

— Ну, Вавило, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена. Потому — не работник ты, а вроде худого ботала.

Вавило давай улещать ее, только она не поддается.

— Слыхала,— говорит,— сладких слов от тебя немало, да дела не видала.

— Вот погоди,— отвечает,— дай только журавлей дождаться, увидишь, какой я человек.

— На что,— спрашивает,— тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, богатство принесут?

Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того непременно оболтает, потому из таких был,— сам себе верил. Звонец и принялся расписывать.

— Многие,— говорит,— золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это по всей тонкости показано. Владеет золотом престрашный змей, а зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин.

Глафира сперва не верит, посмеивается:

— Журавли-то тут с которого боку пришлись?

— Журавель,— отвечает,— в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом!

Глафира и давай спрашивать, что за тайное слово, коим можно змея глушить, и как до того змея добраться. У Звонца, конечно, на все ответ готов.

— Надо,— отвечает,— в потаенном месте яму вырыть поглубже да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится. Приоденется для такого случаю. На голове большущий комок золота вроде шапки али, скажем, венца, а по тулову опояски золотые, с каменьями. Под землей Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму ему все-таки ближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен сказать самым тихим голосом:

— Подай-ко, Дайко, свой золотой венец да опояски!

От того тихого голоса Дайко очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает, да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Коли успеешь, ничего тебе змей не сделает. С шапкой-то он силу свою потеряет и станет камень камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь да поглядит на тебя змей Дайко,— сам камнем станешь.

Глафира смеется:

— Такое дело и удалому по грудки, а тебе выше головы.

Звонец все-таки недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает:

«Заставлю испытать на деле».

Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаенном месте готовил. Тот отговорки всякие придумывать стал: время не подошло, земля не оттаяла. Только Глафира не отступает, за ворот взяла:

— Пойдем выбирать место.

Вавило еще отговорку придумал: днем нельзя,— скитники увидят, а ночами какая работа в эту пору, когда волков сила.

Глафира свое твердит:

— Огонь на что? Разведешь — не подступят к тебе волки.

Добилась-таки своего. Пришлось Звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топор-тупицу взял. Ну, ломок да лопатку тоже. Собирается так, а про себя думает:

«Отсижусь у соседей либо у скитников, утречком пораньше домой прибегу».

А жена свое в голове переводит:

«Что-то мой муженек волков боится, а об огне у него и думы нет. Сфальшивить, видно, хочет».

Подумала так и говорит:

— Сама с тобой пойду.

Звонец давай отговаривать:

— Не пригоже такое женскому полу. Небывалое дело.

Глафира уперлась:

— Мало что не бывало, а теперь стало.

Так и не мог Звонец отбиться, пошла с ним Глафира.

Полный горшок углей из загнетки нагребла. Звонец злится да хитрости придумывает:

«Когда на то пошло, заведу ее подальше. Ноги по снегу-то наломает, другой раз не пойдет».

И скитников тоже побаивается: как бы они не узнали, что золото искать выдумал. Вот, значит, идут да идут, помалкивают оба. Глафира женщина в силе — что ей? Звонец притомился,— язык высунул. Подбодрило, как волков услышал. Ноги сами наутек пошли, да Глафира остановила:

— Что ты, дурак такой, а еще мужиком считаешься! Неуж не слыхал: коли кругом волки завыли, одно спасенье — разводи огонь!

Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько раз-

вели костер. У Звонца зуб на зуб не попадает, а Глафира распоряжается:

— Выбирай место!

— Это,— отвечает,— самое подходящее.

— Коли так, начинай бить яму!

Звонцу что делать? Принялся, а земля мерзлая, и руки непривычные. Видит Глафира: толку не выходит, занялась сама. Сразу смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело. Глафира работает, а Звонец на волков озирается. К утру волчишки затихли, поразбежались, и Звонец с Глафирой домой пошли.

С неделю ли больше Глафира так своего мужа в лес таскала. Натерпелся он страху. Ну, все-таки ямку вырыли. Маломальскую, конечно. На том самом месте она пришлась, где теперь старый березовский рудник показывают.

Как весна подходить стала, Глафира опять мужика в лес потянула: не пропустить бы прилет журавлей. Только Звонец на этот раз отбился. Насказал, что по всем книгам женщине не указано при таком случае быть: змей ее сразу учует. Выгородил, чтоб одному идти, а у самого одно на уме:

«Ни за что на такую страсть не пойду».

Глафира, конечно, подозревала, каждый вечер провожала мужа из дому, да по потемкам он увернется и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене:

— Не показался мне змей Дайко. Учуял, видно, что женщина в этой яме была.

Глафира тут не вытерпела. Плюнула Звонцу в бороденку и говорит:

— Эх ты, сокол ясный! Нашел отговорку — подолом прикрыться! Дура была, что такого слушала! Других журавлей поджидать не стану. Живи как знаешь, а я ухожу!

Звонец опять языком заработал, только Глафира и слушать не стала,— пошла. А куда ей? К брату и думать нечего, потому — Кончина: сказал слово — не отступится от него. Да Глафира и сама той же породы: оплошку сделала — плакаться не станет. Скитницы, на ее житье глядючи, давно ее в скиты сманивали, потому — работница без укору. Да, видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и придумала в город податься.

В городе в ту пору большая нехватка женщин была. Увидели такую молодую да пригожую, со всех сторон набежали. Одни болезнуют, как ты такая молодая в таком месте жить будешь, другие это же говорят, и всяк к себе тянет. Глафира — женщина строгая, объявила:

— Не пойду без закону!

За этим тоже дело не стало. Хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала, какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Кержацкое-то замужество тогда в счет не брали.

Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетчики на две недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире:

— Проклята ты в житье и потомстве твоем до седьмого колена. Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле.

Однем словом, не поскупились. Случай небывалый, чтоб кержачка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другим неповадно было.

Не знаю, испугалась ли Глафира небесной грозы, а земная доля у нее опять не задалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились и ни за барином, ни за казной не числились. Глафира и была в ничьих, а как вышла замуж, так и попала в крепостные. Как говорится, выбралась из глухого рему в болотное окошко!

Муж Глафире неплохой будто попался. Из маленьких начальников, вроде нарядчика по работе. Ну, из боязливых. Больше всего за то беспокоился, как бы барина чем не прогневить. С год ли, два все-таки ладно жили. Об одном Глафира скучала: ребят не было. И к счастью оказалось. Барин, видишь, приметил пригожую молодицу и велел наряжать ее по вечерам в барский дом полы помыть да постель сготовить. Глафира слыхала об этой барской повадке, сказала мужу, а тот глаза в пол, да и говорит:

— Что же такого! Мы люди подневольные.

Глафира остолбенела от такого слова. Ну, смолчала, а про себя подумала:

«Ни за что не пойду».

Раз не пошла, другой — не пошла, в третий — барские слуги за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не оказа-

лось. Глафира видит,— прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась.

— Давно,— говорит,— завидки берут на тех девок да молодаек, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась да муж не пускал, а еще на меня же сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада-радехонька хоть одним глазком поглядеть, как барин поживает, на какой постелюшке спит-почивает.

Обошла этак посланцев словами, да и говорит:

— Приодеться дозвольте. Негоже в барский дом растрепой показываться.

Посланцы видят,— не супротивничает баба, доверились ей. Глафира выбрала из сундука сарафан понаряднее, буски да еще что, прихватила ширинку тоже и вывернулась в сенцы, будто умыться да переодеться. Сама первым делом приперла дверь чем пришлось, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами.

Время летнее. К вечеру клонилось, а еще долго светло будет. Глафира и думает: как быть? Посланцы бариновы не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймают. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу.

Город в те годы не больно велик был. Избушка по-за крепости стояла. Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама все думает: «Куда?» В таких мыслях добралась до Шарташа-озера. По вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видать, сытехонька: не мечется за мошкой, а только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плеску не слышно.

Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно: сколько ни прикидывай, а нет ходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе, пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопата, в другой — узелок с праздничным нарядом. Вспомнила про узелок, поглядеть захотелось. Известно, женщина... В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там разными проймами-прошвами да позументом, буски на себя нацепила, погляделась в воду и говорит шуткой:

— Нарядиться вот, да пойти в Вавилову яму. Не возьмет ли меня змей Дайко себе в жены? Иначе дороги нет. От цер-

ковников убежала, от своих проклята, а раков озерных кормить неохота.

Потом по-другому подумала:

«Может, этот праздничный наряд для дела пригодится. В ношёбном-то меня многие видали. Вот и оставлю его на тропе, а сама в праздничном уйду. Найдут, скажут — утопилась, и делу конец».

Подумала так и давай переодеваться. Не утерпела, погляделась в воду и говорит:

— Не может того быть, чтоб ни одного дитенка не выкормить. Не в одном городе да Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду!

Сказала так и ровно переменилась. Скорехонько оделась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного, ни попутчика не оказалось. Прошла мимо Шарташа. Дорога тут густым лесом, а уж к потемкам близко. Волков по летнему времени не опасайся, а все-таки в потемках идти несподручно. Глафира тогда и придумала:

— А что если мне в той ямке, которую с Вавилом рыли, переждать до свету.

Забавно показалось, как про это вспомнила. Ну, и пошла. Место она хорошо знала. Пришла еще на свету. Видит: перемена большая вышла. Яма много обширнее стала, и все сделано по-хозяйски. Подивилась: неуж Вавило такое может? Валок с бадьей пристроен, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устроена. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму. Ступенек десятка полтора оказалось. Темненько там, а разобрать можно, что все по-хорошему ведется, и сухо в той яме. Глафира затуманилась, позавидовала:

— Бывают же мужики!

Неохота ей после того стало из ямы выходить. Нашарила рукой выступ, да и села тут. Припомнилось ей, как Звонец про золотого змея Дайка рассказывал. Думала-думала об этом и задремала. Только это ей как явь показалась.

Сидит будто она на дне большого-пребольшого озера. Во все стороны этакое серое-сголуба, на воду походит, и дно, как в озере, где помельче, где поглубже. На дне трава да коренья разные. Одни кверху, вроде деревья тянутся, другие понизу

стелются, вроде, скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с деревьями вровень, какие-то веревки понавешены. Толстенные и скрасна показывают. В промежутках везде змеи. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. Сходство меж ними в том, что на каждом змее как обручи набиты и блестят те обручи золотыми искрами и каменьями переливаются. Глядит Глафира и думает:

«Вот оно что! Не один Дайко-то, а много их!»

С этим проснулась да опять заснула и точь-в-точь тот же сон видит. Один змей совсем близко. Руку протяни — обруч достать можно. Глафира сперва испугалась, думала, живой змей-то. Змей пошевеливается, как вот намокшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь, только золотой шапки не видно. Пригляделась этак-то Глафира и бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комышки золота видно. И до того все явственно, что Глафира, как проснулась, приметку острым камешком поставила, в котором месте обруч ближе приходится.

Видит, вовсе светло. Собралась из ямы подыматься, а какой-то мужик по лесенке спускается. Глафира, чтоб врасплох не потревожить человека, говорит:

— Погоди, дяденька, дай сперва мне выбраться!

Мужик вскинулся, а не испугался, вроде даже обрадовался:

— Пришла-таки? Ну-ко, кажись, кажись! Какая в мою долю ввязалась?

Глафира удивилась, что он такое говорит. Выбралась поскорей из ямы, глядит, а это Перфил. Из семерых-то братьев, жена у которого в скиты ушла.

Перфил тоже Глафиру признал. Он годов на десяток постарше был, с малых лет ее видел. Приметная ему чем-то еще в девчонках была. И потом, когда полной невестой стала, Перфил на нее поглядывал, а случалось, и вздыхал:

— Даст же бог кому-то экое счастье! Не то что моя Минодора. Только и знает, что поклоны по лестовке считать да перед божницей на коленках ползать.

Судьбу Глафиры Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники-начетчики принялись голосить насчет проклятия Глафире, Перфил дал такого тума-

ка Звонцу, что тот, почитай, месяц отлеживался и вовсе без пути языком болтал. Кто ни подойдет, одно слышит:

— Дайко-змей, Золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояска подержаться!

Потом, как отлежался, со свидетелями к Перфилу пришел доспрашиваться: за что? Перфил на это и говорит:

— Считай, как тебе любо, да вперед мне под руку не подвертывайся. Рука у меня, видишь, тяжелая, может сразу покойником сделать. Тогда вовсе не догадаешься,— за что.

Из-за этого случаю у Перфила с братьями рассорка вышла. Они, конечно, против скитников зуб имели и Звонца крепко недолюбливали, а все-таки укорили брата:

— Нельзя этак-то смертным боем хлестать ни за что ни про что. Тоже поди живое дыхание, хоть и Звонец!

Перфил на это свое говорит:

— То и горе, что с дыханием посчитался, ослабу руке дал. Кончить бы надо!

Братья, понятно, заспорили, Перфил тоже, так и рассорились. С тех пор Перфил на отшибе от своих стал. А того никому не сказал, что за Глафиру этак употчевал Звонца. Теперь видит: эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошли. Спрашивает: «Как ты из города ушла?»

Глафира без утайки все ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает да зубами скрипит, потом опять спрашивает:

— Как ты в мою яму попала?

Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубахи и показывает перстень:

— Не твой ли на гайтане ношу?

— Мой,— отвечает.

— То-то он мне по душе пришелся. Нашел эту ямку. Вижу,— кто-то начал, да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего? Тоже бросить хотел, да вот перстень этот мне и попался. Перстенек, гляжу, немудренький, а чем-то он меня обрадовал и вроде обнадежил. С той поры и ношу на гайтане с крестом и все поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенька. Вот ты и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться.

— Не беспокойся,— говорит,— толк будет!

И рассказала по порядку, что ночью в яме видела.

— Про золотого змея Дайка,— отвечает,— много в Шарташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул, чуть не месяц про этого Дайка бормотал. Все просил за кисточку какую-то подержаться, да не допросился, видно. Может, и твое видение — обман, а все-таки попытать надо. Только просить-молить не стану, не Звонец поди-ка я. Лучше тому Дайку погрожу,— не испугается ли?

Спустились оба в яму. Показала Глафира свою приметку. Ударил Перфил против этого места, сам приговаривает:

— Подай-ко, Дайко, свой пояс! Не отдашь добром, тебя разобьем, под пестами столчем, а свое добудем!

Маленько поколотился, дошел до поперечной жилки, а там хрустали да золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комышков золотых попалось. Радуются, конечно, оба, потом Глафира и говорит:

— Надо мне, Перфил, дальше идти. Тут не укроешься, найдут. Скажи хоть, до какого места мне теперь добираться. Да не найдется ли кусочка на дорогу?

Перфила даже оторопь взяла.

— Как ты, Гранюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдешь, коли мы с тобой кольцом через землю обрученные? Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты еще девчонкой-несмышленышем бегала.

Тут обхватил ее в полную руку и говорит решительно:

— Никуда ты не пойдешь! Избушка у меня по нагорью поставлена. Хозяйкой будешь. Никто тебя не найдет. А кто сунется,— не обрадуется. Не обрадуется! В случае тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно?

Глафира из-под руки не вырывается. На улыбе стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько:

— Так, видно... Коли старым не укоришь да проклятья не побоишься, так я тебе... через землю венчанная... до гробовой доски.

На том и сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафире пришелся. Мужик усердный да работящий, заботливый да смекалистый. И за себя постоять мог, а за жену особливо. Сперва-то поговаривали, она, дескать, проклятая, такую держать нельзя. Другие опять городских опасались: потянут за укрывательство беглой. Перфил со всеми такими столь твердо поговорил, что потом его-то избушку стороной обходили.

— Свяжись,— говорят,— с этим чертушком,— до поры в могилу загонит. Ничего не щадит, кто про его Глафиру нескладно скажет.

Прожили свой век по-хорошему. Не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали, а это в семейном деле дороже всего. Ребят Глафира навела... целую рощу! Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали. Рослые да здоровые, а красотой в мать. На что Михей Кончина строгого слова человек, и тот по ребятам сестру признал. Седой уж в ту пору был, а смирился. Зашел как-то в избу и говорит:

— Ладные у тебя, сестра, ребята. Вовсе ладные. Не тем, видно, богам скитники кадили, когда тебя проклинали. Оно и к лучшему. Худой травы и без того много. Ее вымаливать не к чему.

Как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счет потеряла. Это Перфилово да Глафирино поколенье не один дом тут поставило. Завязку, можно сказать, нашему заводу сделало. Конечно, и других много было. Ну, эти — коренники. От них, может, и словинка про Дайка пошла.

Теперь это вроде забавы. Известно, при солнышке идешь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потемках пойди — всё дороги да ямины. То же и с золотом. Нынешние вон дивятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальное в отвалы сбрасывали. А по делу надо тому дивиться, как старики до этого дошли, когда никто ничего по золотому делу не знал, а в письменности была одна посказулька про страшного золотого змея.

Этого вот забывать не след. Что нынешнему человеку просто кажется, то старикам большим пóтом да мукой досталось.

Хоть бы Брусницынское золото взять. Не слыхали про такое? Ну, ладно, в другой раз расскажу.

ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА

Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так восьми не больше. Федюнькой его звали. Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь, один старик был. Дедко Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали.

Отец уж сколько раз говорил Федюньке:

— Ложился бы ты, Тюньша, спать!

Парнишечку охота послушать.

— Погоди, тятенька! Я маленечко еще посижу.

Ну вот... Кончил дедко Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят да на эти угольки глядят.

Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба.

Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят — не наглядятся, а сами молчат, будто задумались.

Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом,— видно, ей тесно стало,— пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка, как круг пройдет, так и подрастет

маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла,— с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ты! й-ю-ю-у...

Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало.

Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал:

«Вон до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило... Неведомо что померещится с устатку-то!»

Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца:

— Тятя, это кто?

Отец отвечает:

— Филин, кому больше-то? Неуж не слыхал, как он ухает.

— Да не про филина я! Его-то поди-ко знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи.

— Про какую девчонку?

— А вот которая на углях плясала. Еще ты и все отодвигались, как она широким кругом пошла.

Тут отец и другие старатели давай доспрашивать Федюньку, что он видел. Парнишечко рассказал. Один старатель еще спросил:

— Ну-ко, скажи, какого она росту была?

— Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня стала.

Старатель тогда и говорит:

— А ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел.

Федюнькин отец и еще один старатель это же сказали. Один дед Ефим трубочку сосет и помалкивает. Старатели приступать к нему стали:

— Ты, дедко Ефим, что скажешь?

— А то и скажу, что это же видел, да думал — померещилось мне, а выходит — и впрямь Огневушка-Поскакушка приходила.

— Какая Поскакушка?

Дедко Ефим тогда и объяснил:

— Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на зо-

лото — вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да меньше и на нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку — и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать: то ли где Поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет.

Старатели и говорят:

— Это дело в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или всамделе что на пользу есть.

С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает:

«Над чем это филин хохотал?»

Хотел у дедка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся.

Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит — на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырех больших сосен и все говорят одно:

— На этом самом месте в землю ушла.

Федюнька закричал:

— Что вы! Что вы, дяденьки! Забыли, видно! Вовсе Поскакушка под этой вот сосной остановилась... Тут и ножкой притопнула.

На старателей тут сомненье пришло.

— Пятый пробудился — пятое место говорит. Был бы десятый — десятое бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо.

Все-таки на местах испытали, а удачи не вышло. Дедко Ефим и говорит Федюньке:

— Обманное, видно, твое счастье.

Федюньке это нелюбо показалось. Он и говорит:

— Это, дедо, филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал.

Дед Ефим свое говорит:

— Филин тут — не причина.

— А вот и причина!

— Нет, не причина!

Спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ними, да и над собой смеются:

— Старый да малый, оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем.

С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая редька, а Федюньку — Тюнькой Поскакушкой.

Ребятишки заводские узнали, проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи! Скажи про девчонку!

Старику от прозвища какая беда? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, а Федюньке, по малолетству, обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибло.

Дедко Ефим тоже не часто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти, старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил.

Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а дедко Ефим с Федюнькой на прииске останутся.

Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедко Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и протча тако. Случалось, и про Поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудаче причина, а дедко Ефим говорит — вовсе не причина.

Раз так-то заспорили. Дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был — от комаров курево. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят — в дыму появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать.

Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась-кружилась, а как ростом с Федюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И сейчас же филин заухал, захохотал. Дедко Ефим подивился:

— Откуда филину быть, коли солнышко еще не закатилось?

— Видишь вот! Опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала.

— А ты разве видел Поскакушку?

— А ты разве не видел?

Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось, только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают.

Как до этого договорились, так дедко Ефим и вздохнул:

— О-хо-хо! Видно, нет ничего. Одна это наша думка.

Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жердник под деревом затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили. Все в сохранности осталось. Одне дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит — дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает:

— Это, по-твоему, тоже думка?

Ну, Ефиму податься некуда, сознался:

— Правда твоя, Тюньша. Знак верный — Поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить — счастье пытать.

В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли — ничего не нашли. Дедко Ефим жаловаться стал:

— Наше-то счастье — людям смех.

Федюнька опять вину на филина кладет:

— Это он, пучеглазый, наше счастье обухал да обхохотал! Вот бы его палкой!

В понедельник старатели прибежали из заводу. Видят, свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чем дело. Смеются над стариком-то:

— Редька редьку искал...

Потом увидели, что в балагане пожар начинался, давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедко Ефим застоял:

— Постыдился бы мальчонку строжить! Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Да и какая его вина? Я поди-ко оставался,— с меня и спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Золу, видно, из трубки вы-

сыпал с огоньком — вот и загорелось. Моя оплошка — мой и ответ.

Отчитал так-то Федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было:

— Эх, Тюньша, Тюньша! Смеется над нами Поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть: Пускай людей с пути не сбивает да на смех не ставит!

Федюнька свое заладил:

— Дедо, она не со зла. Филин ей вредит.

— Твое дело,— говорит Ефим,— а только я больше ямы бить не стану. Побаловался — и хватит. Немолодые мои годы — за Поскакушкой скакать.

Ну, разворчался старик, а Федюньке все Поскакушки жаль.

— Ты, дедо, не сердись на нее! Вон она какая веселая да хорошая. Счастье бы нам открыла, кабы не филин.

Про филина дедко Ефим промолчал, а на Поскакушку все ворчит:

— То-то она счастье тебе открыла! Хоть домой не ходи.

Сколько ни ворчит дедко Ефим, а Федюнька свое:

— А как она, дедо, ловко пляшет!

— Пляшет-то ловко, да нам от этого ни жарко ни холодно и глядеть неохота.

— А я бы хоть сейчас поглядел!— вздохнул Федюнька. Потом и спрашивает:— А ты, дедо, отворотишься? И поглядеть тебе не любо?

— Как не любо?— проговорился дедко, да спохватился и давай опять строжить Федюньку:— Ох и упорный ты парнишко! Ох и упорный! Что в головенку попало, то и засело! Будешь вот, что мое же дело,— всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету.

— Как нету, коли я своими глазами видел.

— Ну, как знаешь, я тебе не попутчик! Набегался. Ноги заболели.

Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедко Ефим по работе сноровлял Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые веселые у них те дни были, как они вдвоем на прииске оставались.

Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик по работам, куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома

остался. Только ему дома-то несладко. Тут еще новая беда пришла: отца на заводе покалечило. В больничную казарму его унесли. Ни жив ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала,— загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит:

— Пойду, не то, я к дедку Ефиму жить.

А мачехе что?

— Провались ты,— кричит,— хоть к Поскакушке своей.

Надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел.

На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Скажи про девчонку!

Федюня знай идет своей дорогой. Только и сказал:

— Эх вы! Несмышленыши!

Ребятам что-то стыдно стало. Они уже вовсе по-доброму спрашивают:

— Ты куда это?

— К дедку Ефиму.

— К Золотой Редьке?

— Кому Редька — мне дедко.

— Далеко ведь! Еще заблудишься.

— Знаю поди-ко дорогу.

— Ну, замерзнешь. Вишь, стужа какая, а у тебя и рукавиц нет.

— Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава — только и дела. Не догадались!

Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает, они и стали спрашивать по-хорошему:

— Тюньша! Ты правда Поскакушку в огне видел?

— И в огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу, да рассказывать недосуг,— сказал Федюнька, да и зашагал дальше.

Дедко Ефим то ли в Косом Броду, то ли в Северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая росла. Далеконько все-таки, а время холодное — самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка. Ну,

дошагал все-таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит:

— Фи-т-ты! й-ю-ю-у...

Оглянулся — на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на Поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком, да и забрался в незнакомое место. Глядит — пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья береза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около нее намело гора горой. Клубочек подкатился к этой березе да вокруг нее и кружится.

Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу.

«Сколько,— думает,— бежал, неуж спятиться!»

Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул.

Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька — на дне-то воронки Поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать, а снег-от от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая да цветы лесные.

Обошла круг — тепло Федюньке стало, а Поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели, Поскакушка того больше старается, припевать стала:

У меня тепло!
У меня светло!
Красно летичко!

А сама волчком да волчком — сарафанчик пузырем.

Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубенку сбросить. Поскакушка и говорит:

— Ты, парень, побереги тепло-то! Лучше о том подумай, как назад выберешься!

Федюнька на это и отвечает:

— Сама завела — сама выведешь!

Девчонка смеется:

— Ловкий какой! А если мне недосуг?

— Найдешь время! Я подожду!

Девчонка тогда и говорит:

— Возьми-ко лучше лопатку. Она тебя в снегу согреет и домой выведет.

Поглядел Федюнька — у березы лопатка старая валяется. Изоржавела вся, и черенок расколотый.

Взял Федюнька лопатку, а Поскакушка наказывает:

— Гляди, из рук не выпусти! Крепче держи! Да дорогу-то примечай! Назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то?

— А как же? Непременно прибежим с дедком Ефимом. Как весна — так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать.

— Не время мне. Сам уж, пляши, а дедко Ефим пусть притопывает!

— Какая у тебя работа?

— Не видишь? Зимой лето делаю да таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь — легко?

Сама засмеялась, вернулась волчком и платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голешенька, как неживая. На вершине филин сидит. Кричать — не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело гора горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От Поскакушкина лета только то и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло — и всему телу весело.

Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк — и две ровнешенькие зарубочки готовы.

Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит:

— Посмотри вон лопатку-то! В сенцах она поставлена.

Принес дедко Ефим лопатку, да и углядел — по ржавчине-то золотые таракашки посажены. Целых шесть штук.

Тут дедко поверил маленько и спрашивает:

— А место найдешь?

— Как,— отвечает,— не найти, коли дорога замечена.

На другой день дедко Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника.

Сходили честь честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедко Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу, и прожили ту зиму безбедно.

Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну, и что? С первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях.

Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька — малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота.

Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин на себя это место перевел. Недаром, видно, филин башкой-то ворочал.

Все-таки дедко Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшичка. Годов с пяток в достатке пожили. Вспоминали Поскакушку:

— Еще бы показалась разок!

Ну, не случилось больше. А прииск тот и посейчас зовется Поскакушинский.

15 Заказ № 1673

ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА

Росли в нашем заводе два парнишечка по близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Шапочка. Кто и за что им такие прозвания придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. Умишком вровень, силенкой вровень, ростом и годами тоже. И в житье большой различки не было. У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться.

Одно у них не сходилось: Ланко свое прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его этак ласково зовут — Шапочка. Не раз у матери припрашивал:

— Ты бы, мамонька, сшила мне новую шапку! Слышишь,— люди меня Шапочкой зовут, а у меня тятин малахай, да и тот старый.

Дружбе ребячьей это не мешало. Лейко первый в драку лез коли кто обзовет Ланка Пужанком.

— Какой он тебе Пужанко? Кого испугался?

Так вот и росли парнишечки рядком да ладком. Рассорки, понятно, случались, да ненадолго. Промигаться не успеют, опять вместе.

И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготнее таким-то. С малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут. Мало ли в ту пору у ребят всякого дела: в бабки поиграть, в го-

родки, шариком, порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать, все горочки облазить, пенечки на одной ноге обскакать. Утянутся из дома с утра — ищи их! Только этих ребят не больно искали. Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали:

— Пришел, наше шатало! Корми-ко его!

Зимой по-другому приходилось. Зима, известно, всякому зверю хвост подожмет и людей не обойдет. Ланка с Лейком зима по избам загоняла. Одежонка, видишь, слабая, обувка жиденькая,— недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать.

Чтоб большим под руку не подвертываться, забьются оба на полати, да там и посиживают. Двоим-то все-таки веселее. Когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят.

Вот раз сидят этак-то, а к Лейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься. Близко не пускают, а Марьюшка по-свойски еще подзатыльников надавала.

— Уходи на свое место!

Она, видишь, эта Марьюшка, из сердитеньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенька. Изъян вроде и невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Ну, она и сердилась.

Забились ребята на полати, пыхтят да помалкивают, а девчонкам весело. Золу сеют, муку по столешнице раскатывают, угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочут одна над другой, только Марьюшке не весело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе, говорит:

— Пустяк это. Одна забава.

Одна подружка на это и скажи:

— По-доброму-то ворожить боязно.

— А как?— спрашивает Марьюшка.

Подружка и рассказала:

— От бабушки слыхала,— самое правильное гадание будет такое. Надо вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветях, а на другой день, когда еще никто не пробудился, снять этот гребешок,— тут все и увидишь.

Все любопытствуют — как? А девчонка объясняет:

— Коли в гребешке волос окажется — в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса — нет твоей судьбы. И про то догадаться можно, какой волосом муж будет.

Ланко с Лейком приметили этот разговор и то смекнули, что Марьюшка непременно так ворожить станет. А оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Ребята и сговорились:

— Подожди! Мы тебе припомним!

Ланко в тот вечер домой ночевать не пошел, у Лейка на полатях остался. Лежат, будто похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока подтыкают: гляди не усни!

Как большие все уснули, ребята слышат — Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, как она на повети залезала и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала. Дрожит, зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поежилась маленько и, слышно стало,— уснула. Ребятам того и надо. Слезли с полатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уж сговорились.

У Лейка, видишь, мерин был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко. Ребята и придумали этого мерина Марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, начесали с Голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули.

Пробудились позднехонько. Из больших в избе одна Лейкова мать была — у печки топталась.

Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит — волосу много. Обрадовалась — жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят — что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом одна разглядела в гребешке волос от конского хвоста. Подружки и давай хохотать над Марьюшкой.

— У тебя,— говорят,— женихом-то Голубко оказался.

Марьюшке это за большую обиду, она разругалась с подружками, а те знай хохочут. Кличку ей объявили: Голубкова невеста.

Прибежала Марьюшка домой, жалуется матери — вот какое горе приключилось, а ребята помнят вчерашние подзатыльники и с полатей поддразнивают:

— Голубкова невеста, Голубкова невеста!

Марьюшка тут вовсе разревелась, а мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят:

— Что вы, бесстыдники, наделали! Без того у нас девку женихи обходят, а вы ее на смех поставили.

Ребята поняли — вовсе неладно вышло, давай перекоряться:

— Это ты придумал!

— Нет, ты!

Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую шутку подстроили, кричит им:

— Чтоб вам самим голубая змейка привиделась.

Тут опять на Марьюшку мать напустилась:

— Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь!

Марьюшка в ответ на это свое говорит:

— Мне что до этого! Не глядела бы на белый свет!

Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят — не до них тут, утянулись к Ланку. Забились там на полати и посиживают смирнехонько. Жалко им Марьюшку, а чем теперь поможешь? И голубая змейка в головенках застряла. Шепотом спрашивают один у другого:

— Лейко, ты не слыхал про голубую змейку?

— Нет, а ты?

— Тоже не слыхивал.

Шептали, шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призамнется. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого ни спросят, те отмахиваются: «Не знаю!» — да еще грозятся:

— Возьму вот прут да отвожу обоих! Забудете о таком спрашивать!

Ребятам от этого еще любопытнее стало: что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя?

Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой порядком выпивши и сел у избушки на завалин-

ке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланко и подкатился.

— Тятя, ты видал голубую змейку?

Отец, хотя сильно выпивши был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал:

— Чур, чур, чур! Не слушай, наша избушка-хороминка! Не тут слово сказано!

Пристрожил ребят, чтоб напредки такого не говорили, а сам все-таки выпивши, поговорить-то ему охота. Посидел так, помолчал, потом и говорит:

— Пойдемте на бережок. Там свободнее про всякое сказывать.

Пришли на бережок, закурил Ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит:

— Так и быть, скажу вам, а то еще беды наделаете своими разговорами. Вот слушайте!

Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше четверти и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная-пречерная.

Одному увидеть голубую змейку прямо счастье: наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз тоже не придешь, потому место сразу забудешь.

Ну, а когда змейка двоим-троим либо целой артели покажется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружке станут, что до смертоубийства дело дойдет. У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят: боятся, как бы она не показалась при двоих либо троих. А показаться она везде может: в лесу и в поле, в избе и на

улице. Да еще сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается, только узнать ее все-таки можно. Как идет, так даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется. Это первая примета, а вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого — черная пыль сыплется.

Наговорил этак-то Ланков отец и наказывает ребятам:

— Смотрите, никому об этом не говорите и вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи.

— А как ее звать?— спрашивают ребята.

— Этого,— отвечает,— не знаю. А если бы знал, тоже бы не сказал, потому опасное это дело.

На том разговор и кончился. Ланков отец еще раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоем про голубую змейку даже не поминать.

Ребята сперва сторожились, один другому напоминал:

— Ты гляди, про эту штуку не говори и не думай, как со мной вместе. В одиночку надо.

Только как быть, когда Лейко с Ланко всегда вместе и голубая змейка ни у того, ни у другого с ума не идет? Время к теплу подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава около живой воды повозиться: лодочки пускать, запруды строить, меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком к пруду спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали, а ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке, да и побежали за завод. Там, дескать, из лесу еще долго ручейки бежать будут, на любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай запруду делать, да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить: каждому в одиночку плотинку сделать. Вот и разошлись по ручью-то. Лейко пониже, Ланко повыше, шагов поди на полсотни. Сперва перекликались.

— У меня, смотри-ко!

— А у меня! Хоть завод строй!

Ну, все-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются, как лучше сделать. У Лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтобы всклад вышло:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Только пропел, видит — на него с горки голубенькое колеско катится. До того легонькое, что сухие былинки и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилось, Лейко разглядел: это змейка колечком свернулась, головенку вперед уставила, да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брызжут. Глядит на это Лейко, а Ланко ему кричит:

— Лейко, гляди-ко, вон она — голубая змейка!

Оказалось, что Ланко это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланко закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся:

— Я и глазки разглядел!

— А я хвостик видел. Она им упрется и подскочит.

— Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся.

Лейко, как он все-таки поживее был, побежал к своему прудику за лопаткой.

— Сейчас,— кричит,— золота добудем!

Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, Ланко на него налетел.

— Что ты делаешь? Загубишь себя! Тут поди-ко черная беда рассыпана!

Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот свое кричит, упирается. Ну и разодрались ребята.

Ланку с горки сподручнее, он и оттолкал Лейка подальше, а сам кричит:

— Не допущу в том месте рыться. Себя загубишь. Надо с другой стороны.

Тут опять Лейко набросился:

— Никогда этого не будет! Загинешь там. Сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась.

Так вот и дрались. Один другого остерегает, а сами тумаки дают. До реву дрались. Потом разбираться стали, да и поняли, в чем штука: видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята.

— Как она нам головы закружила! Обоим навстречу показалась. Насмеялась над нами, до драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз, не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем!

Решили так, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было: не попытать ли в одиночку. Ну, боязно, да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейко начал:

— А что, если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть.

Ланко добавил:

— И чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого!

Сговорились так, захватили из дому по кусочку хлеба да по лопатке и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла. Прошлогоднюю ветошь всю зеленой травой закрыло. Весенние ручейки давно пересохли. Цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у Лейковой и начали припевать:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились. Оба босиком по теплому времени. Не успели кончить припевку, от Ланковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искры, налево — такое же густое — черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели, да Лейко смекнул, ухватил Ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет:

— Не гоже на черной стороне оставаться!

Змейка все же их перехитрила,— меж ног у ребят прокатила. У каждого одна штанина золоченой оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили, смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят: пень с одной стороны золотой стал, а с другой черным-чернехонек и тоже твердый, как

камень. Около пня дорожка из камней, направо желтые, налево черные.

Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланко сгоряча ухватил один и чует — ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится. Помнит, что отец говорил: сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется. Он и кричит Лейку:

— Поменьше выбирай, поменьше! Этот тяжелый!

Лейко послушался, взял поменьше, а он тоже тяжелым показался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу, и говорит:

— Брось, а то надорвешься!

Ланко отвечает:

— Если брошу, все в простой камень обернется.

— Брось, говорю! — кричит Лейко, а Ланко упирается: нельзя. Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись, подошли еще раз посмотреть на пенек да на каменную дорожку, а ничего не оказалось. Пень как пень, а никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят:

— Обман один эта змейка. Никогда больше думать о ней не будем.

Пришли домой, там им за штаны попало. Матери отмутузили того и другого, а сами дивятся:

— Как-то им пособит и вымазаться на один лад! Одна штанина в глине, другая — в дегтю! Ухитриться тоже надо!

Ребята после этого вовсе на голубую змейку осердились:

— Не будем о ней говорить!

И слово свое твердо держали. Ни разу с той поры у них разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали.

Раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змейке и не подумал. Только видят — прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору: кто за ягодами, кто по покосным делам. Одно показалось им непривычным: идет, как плывет, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся.

И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышется, а с левой — черное. Ребята и уговорились:

— Отвернемся. Не будем смотреть! А то опять до драки доведет.

Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг их подняло. Открыли глаза, видят — сидят на том же месте, только примятая трава поднялась, а кругом два широких обруча, один золотой, другой чернокаменный. Видно, женщина обошла их кругом да из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать, да золотой обруч не пускает: как перешагивать — он поднимется, и поднырнуть тоже не дает. Женщина смеется:

— Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу.

Тут Лейко с Ланком взмолились:

— Тетенька, мы тебя не звали.

— А я, — отвечает, — сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без работы.

Ребята просят:

— Отпусти, тетенька, мы больше не будем. И без того два раза подрались из-за тебя!

— Не всякая, — говорит, — драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила. Хочу еще испытать.

Насыпала из правого рукава золотого песку, из левого черной пыли, смешала на ладони, и стала у нее плитка черно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две ровнешенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит:

— Коли который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет, коли пустяк — выйдет бросовый камешок.

У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели: стала она вовсе не веселая. Теперь ребята про это и вспомнили, и каждый пожелал:

— Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось и вышла бы Марьюшка замуж!

Пожелали так, и плиточки у обоих стали золоты. Женщина улыбнулась.

— Хорошо подумали. Вот вам за это награда.

И подает им по маленькому кожаному кошельку с ременной завязкой.

— Тут,— говорит,— золотой песок. Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо: «Голубая змейка дала, да больше ходить за этим не велела». Не посмеют дальше разузнавать.

Поставила женщина обручи на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, на черный — левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят — не женщина это, а голубая змейка, и обручи в пыль перешли. Правый — в золотую, левый — в черную.

Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки да кошелечки по карманам и пошли домой. Только Ланко промолвил:

— Не жирно все-таки отвалила нам золотого песку.

Лейко на это и говорит:

— Столько, видно, заслужили.

Дорогой Лейко чует — сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек,— до того он вырос. Спрашивает у Ланка:

— У тебя тоже кошелек вырос?

— Нет,— отвечает,— такой же, как был.

Лейку неловко показалось перед дружком, что песку у них не поровну, он и говорит:

— Давай отсыплю тебе.

— Ну что ж,— отвечает,— отсыпь, если не жалко.

Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмет Лейко из своего кошелька горсточку золотого песку, а он в черную пыль перекинется. Ланко тогда и говорит:

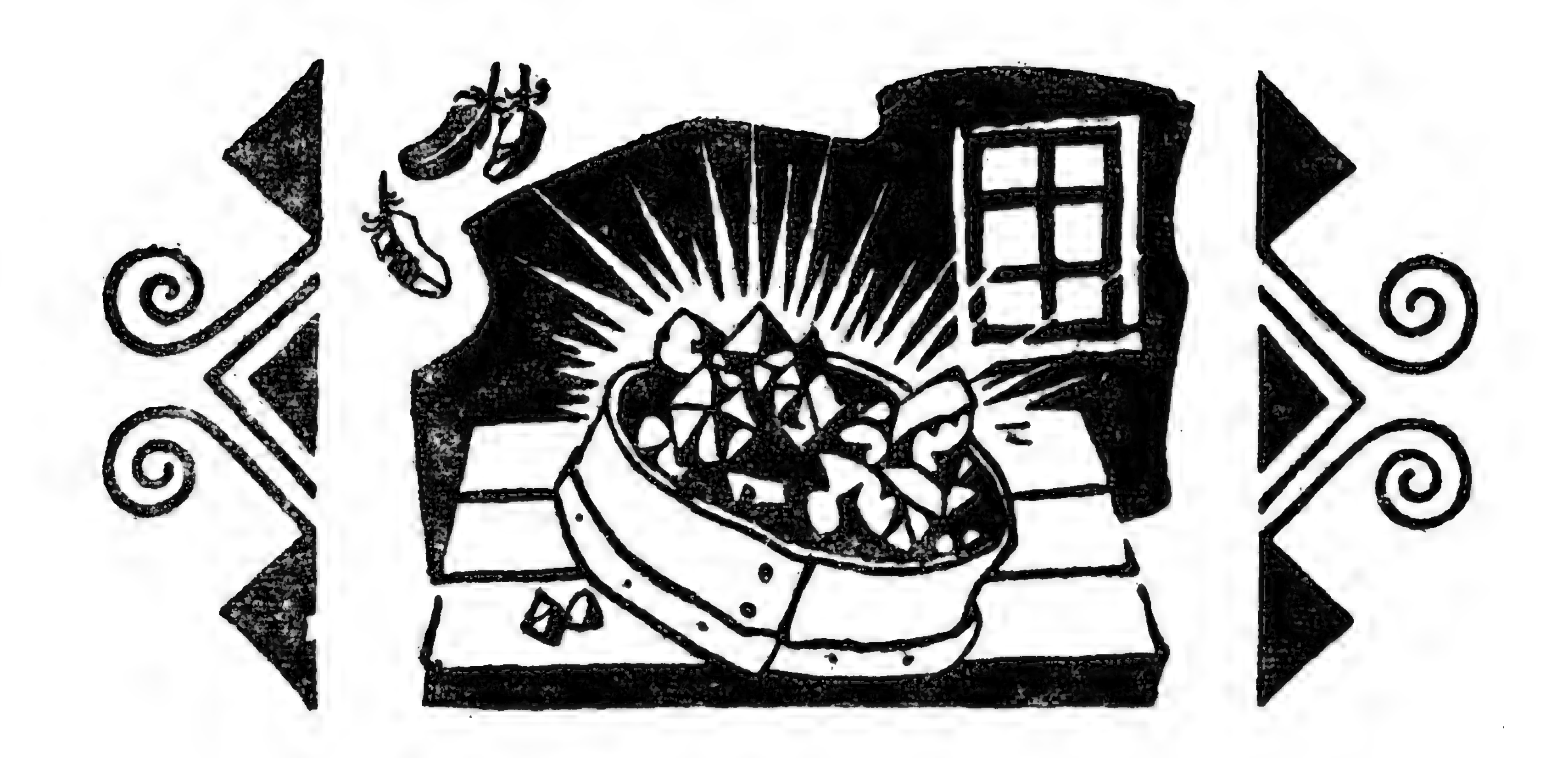
— Может, все-то опять обман.

Взял щепотку из своего кошелечка. Песок как песок, настоящий золотой. Высыпал щепотку Лейку в кошелек — перемены не вышло. Тогда Ланко и понял: обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом Лейку, и кошелек на глазах стал прибывать. Домой пришли оба с полнехонькими кошельками, отдали свой песок и золо-

тые плиточки семейным и рассказали, как голубая змейка велела.

Все, понятно, радуются, а у Лейка в доме еще новость: к Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселехонька бегает, и рот у нее в полной исправе. От радости, что ли? Жених, верно, какой-то чубарый волосом, а парень веселый, к ребятам ласковый. Скоренько с ним сдружились.

Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь, и оба удачливы в своих делах были. Видно, помнила их змейка и черный свой обруч от них золотым отделяла.



СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ

Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался — всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.

От отца — руки да плечи, от матери — зубы да речи, от деда Игната — кайла да лопата, от бабки Лукерьи — особый поминок. Об этом и разговор сперва.

Она, видишь, эта бабка, хитрая была — по улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит:

— Гляди-ко, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила! Чуть не полное решето! Да и перышки какие! Одно к одному — мелконькие да пестренькие, глядеть любо! Прими в поминок — пригодится!

Как женишься да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет: не в диковинку-де мне — свои перышки есть, еще от бабки остались.

Только ты за этим не гонись, за подушкой-то! Принесет — ладно, не принесет — не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой — все немило станет.

— Про какие,— спрашивает Илья,— ты, бабушка, худые думки сказываешь?

— А это,— отвечает,— про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство да маета напрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскрести, не то что богатство получить.

— Как же тогда,— спрашивает Илья,— про земельное богатство понимать? Неуж ни за что считаешь? Бывает ведь...

— Бывает-то бывает, только ненадежно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой! Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка красной девкой обернется да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому, да удалому, да простой душе. Больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ.

Поклонился тут Илья бабке.

— Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставленье. Век его не забуду.

Вскорости умерла бабка... Остался Илюха один-одинешенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали, покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они — эти старушонки — тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо все бабкино обзаведенье по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голехонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил: зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался: начисто выгреб из решета. Только три перышка в решетке зацепились. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое.

Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок.

«Надо,— думает,— хоть эти перышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет».

Подобрал с полу каку-то синюю ниточку, перевязал эти перышки натуго, да и пристроил себе на шапку.

«Тут,— думает,— самое им место. Как надевать либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо».

Надел потом шапку да зипун и пошел на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней — ничем-ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет.

Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. На прииске-то он годов шесть либо семь робил. Тогда ведь, при крепости-то, с малолетства людей на работу загоняли. До женитьбы иной, глядишь, больше десятка годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске.

Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На Гремихе, сказывают, тогда добывали чуть не у Белого камня. Вот Илюха и придумал:

«Пойду-ко я через Зюзельско болотце. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло поди оно,— пустит перебраться. Глядишь, и выгадаю версты три, а то и все четыре...»

Сказано — сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска и на прииск бегали. Сперва ходко шел, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал-скакал, до поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине место пониже. Тут трава растет — горчик да метлика. А с боков взгорочки, а на них сосна жаровая. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо — не знает Илья, куда дальше идти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал.

Вот Илья и пошел серединой, меж взгорочков-то. Шел-шел, видит — на полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась и посредине паучок сидит, тоже синий.

Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло,— чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел.

«Вишь,— думает,— как притомило меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок».

Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз все-таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит,— а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше трех четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок — и разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место.

Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула,

а руки все растут да растут. Того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, силы в них не видно, и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало.

«Дай,— думает,— отвернусь,— все не так страшно».

Отвернулся да носом-то как раз в перышки и ткнулся. Тут на Илью почихота нашла. Чихал-чихал, кровь носом пошла, а все конца-краю нет. Только чует — голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит — стоит старушонка на том же месте, от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла — сила не берет, прочихался, высморкался, да и говорит с усмешкой:

— Что, взяла, старая? Не по тебе, видно, кусок!

Плюнул ей на руки-то, да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому:

— Погоди, не радуйся! Другой раз придешь — головы не унесешь!

— А я и не приду,— отвечает Илья.

— Ага! Испугался, испугался!— зарадовалась старушонка. Илюхе это за обиду показалось. Остановился он, да и говорит:

— Коли на то пошло, так нарочно приду — воды из твоего колодца вычерпнуть.

Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня:

— Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес, а он еще похваляется! Да не родился еще такой человек, чтоб из здешнего колодца воду добыть.

— А вот поглядим, родился ли, не родился,— отвечает Илья.

Старушонка знай свое твердит:

— Пустомеля ты, пустомеля! Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься. Пустые твои слова! Разве других людей приведешь. Посмелее себя!

— Этого,— кричит Илья,— от меня не дождешься, чтоб я стал других людей тебе подводить! Слыхал поди-ка, какая ты вредная и чем людей обманываешь.

Старушонка одно заладила:

— Не придешь, не придешь! Где тебе! Такому-то!

Тогда Илья и говорит:

— Ладно, не то. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости.

— Ветер тебе на что?— спрашивает старушонка.

— Там видно будет,— отвечает Илья.— Ты только плевокот с руки смой. Не забудь смотри!

— Тебе,— кричит старушонка,— не все равно, какой рукой тебя на дно потяну? Хоть ты, вижу, и гораздый, а все едино мой будешь. На ветер да бабкины перья не надейся! Не помогут!

Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше, сам дорогу примечает и про себя думает:

«Вот она какая, бабка Синюшка. Ровно еле живая, а глаза девичьи, погибельные, и голос, как у молоденькой,— так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается».

Про Синюшку Илья много слыхал. На прииске не раз об этом говаривали. Вот, дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на Синюшку. Где она сидит, тут и богатство положено. Сживи Синюшку с места,— и откроется полный колодец золота да дорогих каменьев. Тогда и греби, сколь рука взяла. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули.

К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился, конечно, на Илюху:

— Что долго?

Илья объяснил — так и так, бабку Лукерью хоронил. Смотрителю маленько стыдно стало, а все нашел придирку.

— Что это у тебя за перья на шапке? С какой радости нацепил?

— Это,— отвечает Илья,— бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил.

Смотритель, да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством, а Илья и говорит:

— Да, может, я эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому — не простые они, а наговоренные. Белое вот — на веселый день, черное — на спокойную ночь, а рыженькое — на красное солнышко.

Шутит, конечно. Только тут парень был — Кузька Двоерылко. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяце именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылко, вовсе со справного двора. По-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо — полегче бы работа до-

ма нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался, свое смышлял,— не попадет ли штучка хорошая, а унести ее сумею. И верно, насчет того, чтобы чужое в свой карман прибрать, Двоерылко мастак был. Чуть кто не доглядел,— Двоерылко уже унес, и найти не могут. Однем словом, ворина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черканул. Скользом пришлось, а все же зарубка на память осталась — нос до губы пополам развалило. По этой приметке Кузьку и величали Двоерылком.

Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядреный да могутный, крутой да веселый,— работа у него и шла податно. Кончил работу — поел да песню запел, а то и в пляс пошел. На артелке ведь и это бывает. Против такого парня где же равняться Двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал:

«Не иначе, знает Илюшка какую-то словинку,— то он и удачливый, и по работе ему устатка нет».

Как про перышки-то Илья сказал, Кузька и смекнул про себя:

«Вот она — Илюшкина словинка».

Ну, известно, в ту же ночь и украл эти перышки.

На другой день хватился Илья — где перышки? Думает, обронил. Давай искать по прииску-то. Над Ильей подсмеиваться стали:

— Ты в уме ли, парень! Столько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие перышки ищешь! В пыль поди их стоптали. Да и на что они тебе?

— Как,— отвечает,— на что, коли это бабкина памятка?

— Памятку,— говорят,— надо в крепком месте либо в голове держать, а не на шапке таскать.

Илья и думает — правду говорят,— и перестал те перышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты.

У Кузьки своя забота — за Илюхой доглядывать, как у него теперь дело пойдет, без бабкиных перышек. Вот и узорил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошел. Двоерылко за Ильей,— думает, не смывку ли где наладил. Ну, никакой смывки не оказалось, а стал Илья тот ковш на жердинку на-

саживать. Сажени четыре жердинка. Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Еще пуще Кузька насторожился.

Дело-то к осени пошло, крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва покочевряжился,— ты, дескать, недавно ходил, да и незачем тебе — семейства нет, а хозяйство свое — перышки-то — на прииске потерял. Ну, отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он спозаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то пришлось, да ведь воровская сноровка известна. Не нами сказано — вор собаку переждет, не то что хозяина. На утре подошел Илья, достал ковш, да и говорит:

— Эх, перышек-то нету! А ветер добрый. С утра так свистит,— к полдню вовсе разгуляется.

Впрямь ветер такой, что в лесу стон стоит. Пошел Илья по своим приметкам, а Двоерылко за ним крадется да радуется:

«Вот они, перышки-то! К богатству, знать-то, дорожку кажут!»

Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться, а ветер все тише да тише. Как на ложок выйти, так и вовсе тихо стало — ни одна веточка не пошевельнется. Глядит Илья — старушонка у колодца стоит, дожидается и звонко так кричит:

— Вояка пришел! Бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь? Беги-ко домой да ветра жди! Может, и дождешься!

Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым-густехонько. Илья разбежался да со взгорочка ковшом-то на жердине прямо в ту синюю шапку и сунул да еще кричит:

— Ну-ко, ты, убогая, поберегись! Не зашибить бы ненароком.

Зачерпнул из колодца и чует — тяжело. Еле выволок. Старушонка смеется, молодые зубы кажет.

— Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Много ли моей водицы испить доведется!

Задорит, значит, парня. Илья видит — верно, тяжело,— вовсе озлился.

— Пей,— кричит,— сама!

Усилился, поднял маленько ковшик, да и норовит опрокинуть на старушонку. Та отодвинулась. Илья за ней. Она даль-

ше. Тут жердинка и переломилась, и вода разлилась. Старушонка опять смеется:

— Ты бы ковшик-то на бревно насадил... Надежнее бы!

Илья в ответ грозится:

— Погоди, убогая! Искупаю еще!

Тут старушонка и говорит:

— Ну, ладно. Побаловали — и хватит. Вижу, что ты парень гораздый да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажись: «Без ковша пришел» — и все тебе будет.

— Мне,— отвечает Илья,— и на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.

— По делу видно будет,— усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала.

Двоерылко все это до капельки видел и до слова слышал. «Надо,— думает,— поскорее на прииск бежать да кошели наготовлять. Как бы только Илюшка меня не опередил!»

Убежал Двоерылко. А Илья взгорочком к дому пошел. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришел, а там одна новость — бабкиного решета не стало.

Подивился Илья — кому такое понадобилось? Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошел, только не через болото, а дорогой, как все ходили.

Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит — на работе помнится и сну мешать стал. Нет-нет и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит: «Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь».

Вот Илюха и порешил:

«Схожу. Погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама мне красной девкой покажется».

В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на прииске разговор — Двоерылко потерялся. Сбегали на завод — нету. Смотритель велел по лесу искать — тоже не оказалось. И то сказать, искали — не надсажались. Всяк про себя думал: «От того убытку нет, коли вор потерялся». На том и кончилось.

Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел.

Добрался до места. Глядит — никого нет. Илья все же со взгорочка не спустился и тихонько молвил:

— Без ковша пришел.

Только сказал, сейчас старушонка объявилась и ласково говорит:

— Милости просим, гостенек дорогой! Давно поджидаю. Подходи да бери сколько унесешь.

Сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там и открылось богатства всякого. Доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочка не спускается. Старушонка поторапливать стала.

— Ну, чего стоишь? Бери, говорю, сколько в кошель уйдет.

— Кошеля-то,— отвечает,— у меня нету, да и от бабки Лукерьи я другое слыхал. Будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь.

— Вишь ты, привередник какой! Ему еще подноси! Ну, будь по-твоему!

Как сказала это старушонка, так из колодца синий столб выметнуло. И выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нем груда всякого богатства. Песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подает ему поднос.

— Прими-ка, молодец!

Илья на прииске вырос, в золотовеске тоже бывал, знал, как его — золото-то — весят. Посмотрел на поднос и говорит старушонке:

— Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.

— Не возьмешь?— спрашивает старушонка.

— И не подумаю,— отвечает Илья.

— Ну, будь по-твоему! Другой подарок дам,— говорит старушонка.

И сейчас же той девицы — с золотым-то подносом — не стало. Из колодца опять синий столб выметнуло. Вышла другая девица. Ростом поменьше. Тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нем груда богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке:

— Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаешь.

Тут старушонка вовсе по-девичьи рассмеялась.

— Ладно, будь по-твоему! Тебя и себя потешу. Потом, чур, не жалеть. Ну, жди.

Сказала, и сразу не стало ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял-стоял Илюха — никого нет. Надоело уж ему ждать-то, тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит — девчонка подходит. Простая девчонка, в обыкновенный человеческий рост. Годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожа эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы — малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя.

Подошла девчонка к Илюхе и говорит:

— Прими-ко, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.

И подает ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерьи решето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и желтая морошка, и черная смородина с голубикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнехонько решето. А сверху три перышка. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны.

Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домекнуть не может, откуда эта девчонка появилась, где она осенью всяких ягод набрала. Вот и спрашивает:

— Ты чья, красна девица? Скажись, как тебя звать-величать?

Девчонка усмехнулась и говорит:

— Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому, да удалому, да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.

Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и спрашивает:

— Перышки-то у тебя откуда?

— Да вот, — отвечает, — Двоерылко за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил, а твои-то перышки выплыли. Простой, видно, ты души парень.

Дальше Илья и не знает, о чем говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. Потом промолвила:

— Так-то, мил друг Илюшенька! Синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешнему богатству навеки приставлена.

Тут помолчала маленько да спрашивает:

— Ну, нагляделся? Хватит поди, а то как бы во сне не привиделась.

И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая живая девчонка стала, а ее и вовсе нет.

Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз, тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело, дно оборвалось, и на пол самородки да дорогие каменья посыпались.

С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завел, а вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна-покою из-за этого решился. И бабки Лукерьи перышки не помогают. Не один раз говаривал:

— Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья! Научила ты, как Синюшкино богатство добыть, а как тоску избыть — не сказала. Видно, сама не знала.

Маялся-маялся так-то и надумал:

«Лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить».

Пошел к Зюзельскому болотцу, а бабкины перышки все же с собой захватил. Тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали.

Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десяток, с полными корзинками. Одна девчонка на отшибе идет, годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий. И пригожая — сказать нельзя. Брови — дугой, глаза — звездой, губы — малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя. Ну, вылитая та. Одна приметочка разнится: на той баретки синие были, а эта вовсе босиком.

Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, а она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается — зубы кажет. Прочухался маленько Илюха и говорит:

— Как это я тебя никогда не видал?

— Вот,— отвечает,— и погляди, коли охота. На это я проста — копейки не возьму.

— Где,— спрашивает,— ты живешь?

— Ступай,— говорит,— прямо,повороти направо. Тут будет пень большой. Ты разбегись да треснись башкой. Как искры из глаз посыплются — тут меня и увидишь...

Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется. Потом сказалась — чья такая, по которой улице живет и как зовут.

Все честь честью. А сама глазами так и тянет, так и тянет.

С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел. Только ненадолго. Она, вишь, из мраморских была. То ее Илюха и не видал раньше-то. Ну, а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой — овдовеешь. С малых лет около камню бьются — чахотка у них.

Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то. А по Зюзельке вскорости большой прииск открыли.

Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял. Ну, рыться по тем местам стали, да и натакались по Зюзельке на богатимое золото.

На моих еще памятях тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли. Туман синий,— тот и посейчас на тех местах держится, богатство кажет.

Мы ведь что! Сверху поковыряли маленько, а копни-ко поглубже... Глубокий, сказывают, тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя.

Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей,— не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григорья, да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли?

Соседи объясняют:

— Плохое житье у нее. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья! Да и уговоришь поди-ко.

— И то правда,— отвечает Кокованя,— уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких.

На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.

Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас Григорьева-то подаренка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее!

Кокованя и говорит:

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет. Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну, как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Даренкой зовут?

— Да так,— отвечает,— само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто?— спрашивает девчоночка.

— Я,— говорит,— вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю да все увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет,— отвечает Кокованя.— Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу,— ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик веселый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это,— отвечает Кокованя,— что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радехонька, что Кокованя сиротку к себе зовет. Стала скорей Даренкины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлычет:

— Пр-равильно придумал. Пр-равильно.

Вот и повел Кокованя сиротку к себе жить.

Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было.

Кокованя с утра на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту ходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать. Даренка любила те сказки слушать, а кошка Муренка лежит да мурлычет:

— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.

Только после всякой сказки Даренка напомнит:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростком козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая.

А Даренка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то,— отвечает,— у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шерстка у него какая?

— Летом,— отвечает,— буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душной?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной? Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел.

Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой.

— А как же,— спрашивает Даренка,— зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Даренка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасется?

— Кто его знает. Может, и он там.

Даренка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдет, — я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще.

Только Даренка никак не отстает:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».

Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку.

«Нельзя ли,— думает,— этой веревкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

— Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Даренкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повел!

Как стали Кокованя с Даренкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись,— а это Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.

Хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят — Муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась.

Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить! А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься поди одна-то.

— Чего, — отвечает, — бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки!

Ушел Кокованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал... Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит — Муренка лежит спокойнехонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела — это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Муренка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра.

Другой день прошел. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку да приговаривает:

— Не скучай, Муренушка! Завтра дедо непременно придет.

Муренка свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом где дверка, а там и сверху запостукивало. Не громко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает:

«Не козел ли тот вчерашний прибежал?»

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козел — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козел на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела и копытце видела. Не видела только, как этот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Муренка знай свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нет. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козел стоит — и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днем еще на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб.

Все бы хорошо, да Муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз — и будет.

А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?

17 Заказ № 1673

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ

Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел? Куда никто из наших не бывал, туда он со всем войском по рекам проплыл?

Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на веслах, да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то, вон, сказывают, до самого Китаю плыви — не тряхнет!

На словах-то вовсе легко, а попробуй на деле — не то запоешь! До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде не написано: то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай, — направо плыть али налево правиться? У куличков береговых небось не спросишь и по солнышку не смекнешь, потому — у всякой реки свои петли да загибы и никак их не угадаешь.

Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться. Главная причина — приметок нет, да и не сам идешь, а река тебя ведет. Коли ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь, а можешь и вовсе с головами загубить.

Это по нынешним временам так-то, а в Ермакову пору и того мудренее было. Тогда поди-ко не то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из

здешних рек одну Каму знали да Чусовую маленько, а про Туру да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути-дороги по рекам разберет. Листов-то, на коих всяка речка-горочка обозначены, тогда и в помине не было, и вожака не найдешь, потому — никто из наших в той стороне не бывал.

Нет, брат, зряшный твой разговор выходит! Чусовские старики об этом складнее сказывают.

Так будто дело-то было.

Когда еще по нашим местам ни одного города, ни одного завода либо села русского не было, у Строгановых на Чусовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось, потому — крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких бревен-стояков. С двух сторон ворота надежные поставлены да еще башни срублены. На случай, чтоб оттуда стрелять, либо камнями бросать, а то и кипятком поливать, коли кто непрошеный ломиться станет. И ратные люди в этом Чусовском городке жили. Ну, и крестьяне тоже.

В том числе был Тимофей Аленин. По доброй воле он туда пришел али ссылкой попал — это сказать не умею, только жил семейно. И было у него, ровно в сказке, три сына, только дурака ни одного. Все ребята ладные да разумные, а младший Васютка из всех на отличку. И лицом пригож, и речами боек, и силенкой не по годам вышел.

Хоть говорится, что атаманами люди не родятся, а все-таки смолоду угадать можно, кому потом кашу варить, кому передом ходить.

Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верховодил, а любимая забава у него была в развед ходить.

У ворот-то, дескать, стоять — не много увидишь, вот он и сбил из своих ровесников ватажку копейщиков, с саженными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без большого за городской тын не выпускать, только этот Васютка нашел дорогу. Он что придумал? Подойдет к тыну с веревкой, прислонит свою палку-копье к стене, захлестнет верхушку столба петлей, взлепится по узлам веревки на тын, перекинет первым делом свое копье на другую сторону, спустится туда же сам и палкой петлю снимет, да и покрикивает:

— Ну, кто так же?

Кому из ребят это сделать не под силу, того сейчас же из игры долой.

— Нам таких копейщиков со слабиной не надо!

За такую игру Васютке, да и другим ребятам не раз доставалось от больших, да только ребятам все неймется. Нет-нет и утянутся за городской тын.

Вот раз убрались в лес далеконько, да и потеряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те сразу крик подняли и живо сбежались. Одного Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой бежать, да постыдились: как мы своего вожака оставим.

Стоят, значит, у какой-то речки да кричат сколько голосу есть. Потом насмелились, вверх по речке пошли, а сами знай свистят да ухают.

А с Васюткой такой случай вышел. Он по этой же речке вверх далеко зашел. Вдруг слышит — шум какой-то. Васютка хотел поворотиться, да спохватился:

— Так-то меня скорее услышат.

Он и прижался в кустах. Сидит, слушает. Шум близко, а понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмостился потихоньку на сосну, огляделся и увидел... Выше-то речка надвое расходится. Островок тут пришелся. Островок высоконький, полой водой его не зальет. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь шею вытянул, да и шипит по-гусиному, вроде как сердится. По речке, прямо к тому месту, медведь шлепает. Мокрехонек весь. Башкой мотает, а сам рычит, огрызается. На него другой лебедь налетает, крыльями бьет, клювом с налету долбит. Лебедь, конечно, птица большая. Крылья распахнет, так шире сажени. Понимай, какая в них сила! И ноготок на носу хоть красный, а не из клюквы. Долбанет им, так медведь завизжит, завертится, как собака. Ну, все-таки где же лебедю с медведем сладить? Изловчился мишка, загреб лебедя лапами, и только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам ревет, будто жалуется, — вот как меня лебеди отделали! И лапой по глазам трет.

Вытащил убитого лебедя на травку береговую, почавкал маленько да не до убитого, видно, ему. Нет-нет и начнет во-

зить лапой под глазами. Потом что-то насторожился, уши поднял и морду вытянул. Постоял так-то, затряс башкой:

— Фу ты, пакость какая!

Забросал лебедя сушняком, прихлопнул ворох лапой, да в лес. Только сучья затрещали.

Как стихло, Васютка слез с дерева и пошел ко гнезду, — что там? Оказались лебединые яйца. Они на гусиные походят, только много больше и позеленее кажутся. Пощупал рукой, — они вовсе теплые, нисколько не остудились. Васютке жалко лебедей-то, он и подумал:

«А что, если эти яички под бабушкину гусишку подсунуть? Выведутся поди-ка? Как бы только их в целости донести да не остудить?»

Вытряхнул из своего мешка хлеб, надрал сухого моху, набил им мешок да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить. И то подумал, — много-то взять, баушка скорее заметит.

Устроил все, да и пошел вниз по реке. Про то и не подумал, что заблудился. Знает, что речка к Чусовой выведет. Подошел маленько, слышит — ребята кричат да свистят! Тут Васютка и догадался, почему медведь убежал.

Известно, зверь и ухом и носом дальше нашего чует и человечьего голосу не любит. Услышал, видно, ребят-то, да и убежал.

Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята как услышали про медведя, так и заоглядывались, — вдруг выскочит, — поскорей зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до того ему. Об одном забота — как бы в сохранности свою ношу донести.

У Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила баушка Ульяна. Старуха строгая, поблажки внучатам не давала, да и на отца частенько поварчивала.

Первым делом на Васютку накинулась: где шатался? Ну, он отговорился:

— За мохом в лес ходил. Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тяте говорила, да он все забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, подсушить его надо на печке.

И сейчас же на печь залез.

Баушка еще поворчала маленько, спросила — с кем ходил да почему не сказался, потом и наказывает:

— Ты потоньше расстели. По всей печке!

Васютке того и надо. Забился подальше на печь, вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки, положил на самое теплое место, а мох по всей печке раструсил.

Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые.

Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а все-таки чужие не выбросила. Баушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только:

— Какие-то яйца неровные. Которые больше, которые меньше! К чему бы это?

Васютка знай помалкивает, а чтоб улики не было, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын выбросил.

Так оно и прошло незаметно. В одном не сошлось: гусиные яйца еще ничем-ничего, а лебедята уже проклюнулись, запопискивали. Баушка Ульяна всполошилась:

— Что за штука? До времени гусята вылупились! Беспременно это к мору либо к войне!

Гусь этих своих новых детей к себе не подпускает, и гусишка, как виноватая, ходит, а все-таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается. Прямо не отходит, поит их, кормит вовремя. Баушка, на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями:

— Вы, лбы, учились бы у малого, как баушке пособлять! Гляди-ка, вон он и моху притащил, и за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой — только и есть вашей работы!

Братья знали, в чем штука, посмеиваются:

— Осенью, баушка, по-другому не заговори!

Баушка пуще того сердится, ухватом грозится, — уходи, значит, а не то попадет.

К осени, и верно, обозначилось, что у Алениных лебеди растут. Соседи подсмеиваются над баушкой Ульяной: не доглядела, вырастила лебедей, а куда их, коли колоть за грех считалось. Баушка — старуха нравная, ей неохота свою оплошку на людях показать, она и говорит:

— Нарочно так сделала. Принес внучонок лебединые яйца, вот и захотела узнать, улетят лебеди али нет, если гусишка их выведет.

На Васютку все-таки косо запоглядывала.

— Вон ты какой! Еще невысоко от земли поднялся, а какие штуки вытворять придумал!

У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали каждый день драться. Прямо насмерть бьются, и не подходи — сшибут, не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не ввязывается, в сторонке ходит.

Кто-то из больших и объяснил Васютке:

— Это беспременно лебедка, а те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет. Как бы насмерть друг дружку не забили!

Баушка, на эту драку глядючи, вовсе взъедаться на Васютку стала, а он и так сам не свой, не придумает, как быть? Кончилось все-таки тем, что один лебеденок с реки не вернулся. Остались двое, — и драки не стало.

Утихомирилось ровно дело, а баушка Ульяна пуще того взъедаться стала. Видишь, дело к зиме пошло, она и думает, сколько корму этой птице понадобится, а толку от нее никакого, если колоть нельзя. Ну, баушка и давай лебедей отгонять. С метлой да палками за ними бегать. Лебеди тоже ее невзлюбили: не тот, так другой налетит, с ног собьет да еще клювом стукнет.

Тут старуха и говорит сыну решительно:

— Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту птицу со двора, не то сама уйду, — правься как знаешь с хозяйством!

Васютка видит — вовсе плохое дело выходит, приуныл. Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей. Взял и привязал на крепкой ниточке каждому на шею по бусинке: лебедю — красненькую, лебедушке — синенькую. Те будто тоже разлуку чуют, — так и льнут к Васютке, а он со слезами на глазах ходит. Ватажка — копейщики-то — подсмеиваться даже стала:

— Завял наш вожачок!

Только Васютка вовсе и не стыдится.

— До слез, — говорит, — жалко с лебедями расставаться. Улетят ведь и забудут про меня!

Лебеди ровно понимают этот разговор. Подбегут к Васют-

ке, шеи свои ему под руку подсунут, будто поднять собираются, головами прижимаются да потихоньку и переговариваются:

— Клип-анг, клип-анг!

Дескать, будь спокоен — не забудем, не забудем!

Как вовсе холодно стало да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились. Только к Тимофею на двор больше не заходили, а где увидят Васютку, тут к нему и подлетят, поласкаются.

Да еще баушку Ульяну подшибли, как она на гору с ведрами шла. Не сильно все-таки, а так только попугали да водой оплеснули, вроде пошутили. Помним, дескать, Васюткину ласку и твою палку не забыли. Такой тебе от нас и ответ!

Дальше так и повелось. Как зима — лебедей не видно, а весной и летом хоть раз да к Васютке подлетят. Потом он сам научился их подманивать. Выйдет на открытое место да крикнет, как они:

— Клип-анг, клип-анг!

Вскорости который-нибудь, а то и оба прилетят, только крылья свистят, будто тревожатся, — не обидел ли кто Васютку. Если близко человек случится, его так с налету шарахнут, что сразу на землю кувыркнется. А к Васютке заковыляют, шеи чуть не по земле вытянут, крыльями взмахивают, шипят да подпрыгивают, как домашние гуси, когда к корму идут,— радуются.

Ну вот... за летом зима, за зимой лето... Сколько их прошло, не считал, а только из Васютки такой парень выправился, что заглядеться впору. И речист и плечист, умом и ухваткой взял и лицом не подгадил: бровь широкая, волос мягкий, глаз веселый да пронзительный.

Из тысячи один, а то и реже такой парень выходит, и должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятливый и новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал.

Строгановы, понятно, приметили такого парня, кормщиком его поставили и похваливать стали:

— Хоть молодой, а с ним отправить любой груз надежно.

Скоро Тимофеича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз да дорога мало ведома, так его и наряжают.

И с народом у Василья обхождение лучше нельзя. Любили парня за это. С ребячьих лет кличка ему ласковая осталась — наш Лебедь.

С женитьбой у Василья заминка вышла. Все его товарищи давно семьями обзавелись, а он в холостых ходил, и отец его не неволил: как сам знаешь. Ну, вот видит Василий — пора, и стал себе лебедушку подсматривать.

Такому парню невесту найти какая хитрость! Любая бы девка из своей ровни за него с радостью пошла, да он, видно, занесся маленько. Тут у него оплошка и случилась.

В Чусовском городке, конечно, начальник был. Воеводой ли — как его звали. А у этого воеводы дочь в самой невестиной поре. Василий и стал на ту деваху заглядываться.

Родня да приятели не раз Василью говаривали:

— Ты бы на эти окошки вовсе не глядел. Не по пути ведь! А то, гляди, еще бока намнут.

Только в таком деле разве сговоришь с кем, коли к сердцу припало. Не зря сказано — полюбится сова, не надо райской пташки. Зубами скрипнет Василий:

— Не ваше дело! — А сам думает:

«Кто мне бока намнет, коли у самого плечо две четверти и кулак полпуда».

Деваха та, воеводина-то дочь, по всему видать, из обманных девок пришлась. Бывает ведь, — лицом цветок, а нутром — головешка черная. Эта деваха хоть ласково на Василья поглядывала, а на уме свое держала. Раз и говорит ему из окошка тихонько, будто сторожится, чтоб другие не услышали:

— Приходи утром пораньше в наш сад. Перемолвиться с тобой надо.

Василий, понятно, обрадовался. На заре, чуть свет, забрался в воеводский сад, а тут его пятеро воеводских слуг давно ждали, и мужики здоровенные, на подбор. Сам воевода тут же объявился, распорядок ведет:

— Вяжи холопа! Волоки на расправу!

Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать: кому — в ухо, кому — в брюхо. Всех разметал, как ко-

тят, а сам через загородку перемахнул. Шум, понятно, вышел. Еще люди набежали, а воевода знай кричит:

— Хватай живьем!

Василий видит — туго приходится, к Чусовой кинулся. Ворота городские по ранней поре еще заперты, да ему что! Сорвал с себя пояс, на бегу петлю сделал, захлестнул за стояк да старым обычаем перекинулся за городской тын. Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче да шест покрепче и пошел по Чусовой кверху.

Время, видишь, вешнее. Чусовая в полную силу шумела. На веслах вверх не выгребешь и с шестом умеючи надо, чтоб, значит, все гривки-опупышки на дне хорошо знать. Василий и понадеялся на свою силу да сноровку.

— Ну, кому, дескать, по такой воде меня догнать.

Только не так вышло.

Сколь ведь силы ни будь у человека и хоть как он реку ни знай, а не уйти ему против воды от погони, коли там шесту веслами помогают и смена есть. Как на грех в одном месте промахнулся — ткнул шестом, а не маячит: дна не достает. Лодку и закружило. Пока Василий справлялся, погоня — тут она. На трех лодках человек, может, сорок, а то и больше. Одно Василью осталось — в воду и на берег, а там что будет. Только тоже дело ненадежное: чует, что из сил выбился, да и весной в лесу мудрено прятаться, — потому след сдалека видно.

Воевода на задней лодке на корму взмостился, будто сам правит. Увидел Васильеву неустойку — радуется:

— А, попался, холопья душа!

Василий оглянулся, хотел ответным словцом воеводу стегнуть и видит — высоко в небе над рекой два лебедя летят. И от солнышка видно, что на шеях у них как искорки посверкивают.

Обрадовался Василий, куда и усталость ушла, во весь голос закричал по-лебединому:

— Клип-анг, клип-анг!

А лебеди знают свое дело. Сверху-то, видно, все разглядели.

Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводу шибанул, что тот вниз головой в воду бултыхнул. Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опрокинул, да и весловых успел погладить: у кого нос в крови, у кого на лбу шишка.

Большая у погони заминка вышла: воеводу из воды добы-

вать пришлось. Мужик сырой да тяжелый, а вешняя вода, известно: легкая да игривая. Любо ей со всякой колодиной побаловаться. Подхватила она воеводу и давай крутить — вот-вот пузыри пустит. Поймали все-таки, выволокли. Чуть живой с перепугу, зуб на зуб не попадает, а свое не забыл:

— Живьем хватайте! Не уйти ему.

А чего не уйти, коли Василья давно не видно. Лебеди сполоху погоне наделали, сели на воду, подплыли к Васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы, как зажали лодку-то, да и повели так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, против лебедя на воде птицы нет. Сдаля поглядеть — будто не шевельнется, а попробуй — поравняйся с ним!

Так и потерялся Василий. Сколько воевода ни гонял людей, даже следа не видали. И то сказать, побаивались воеводские посланцы далеко по реке заходить, а Василий с лебедями всю Чусовую до краю прошел. Все речки-старицы изведал, да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому.

Вот тогда ему, может, первому из наших и довелось сибирской водицы из Тагила-реки испить. Дошел, видать, до какой-то неведомой речки и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василья и потянуло, — что там, дальше-то, да лебеди заартачились, крыльями замахали: не выдумывай! Василий их и послушался, не пошел по Тагилу.

Эти лебеди в то лето и гнезда себе не вили, все около Василья старались. Мало что от воеводы ухранили да речные дороги показали, они еще открыли ему все здешнее богатство.

Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую-либо, на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь белое крыло, а Василью весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну, как есть все.

При таких лебедях, понятно, об еде да питье Василью заботы не было. Подведут лебеди лодочку к какому-нибудь крутику, похлопают крыльями, и откроется в том крутике ходок, как проточка малая. Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана, и в ней поесть и попить приготовлено.

Все бы ладно, да без людей тоскливо. И то Василью покою не дает — воеводина дочь из мыслей не выходит. Думает, что

она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий и жалел эту деваху.

— Теперь поди взаперти сидит да слезы льет, моя горюшенька!

Тосковал-тосковал и надумал:

— Жив не буду, а вызволю ее!

Лебеди видят — к дому Василья потянуло, головами покачивают:

— Ни к чему придумал! Ой, ни к чему!

Дорогу все-таки не загораживают:

— Воли, дескать, с тебя не снимаем, — как хочешь!

Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, лебеди даже пособили ему. В один день лодку с самого верху до Чусовского городка довели. Посчитай, сколько на час придется!

Довели Василья до знакомых ему мест, поласкались маленько, как простились, а сами одно наговаривают:

— Клип-анг, клип-анг!

Вроде наказ дают:

— Когда тебе надо, кричи нам!

Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. Еле-еле потемок дождался, даром что время к осени и темнеть рано стало.

В городок попасть, чтобы караульные не видели, Василью привычно. Переметнулся через тын, где сподручнее, и пошел по городку. Идет спокойно, ни одна собачонка не гавкает. Недаром, видно, говорится — на смелого и собаки не лают.

Хотел сперва Василий понаведаться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела, да мимо родного дома как пройдешь. Любопытно Василью хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует — не так будто стало, не по-старому, а в чем перемена — понять не может.

«Дай, — думает, — погляжу поближе».

Перелез тихонько в ограду, походил в потемках-то — живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сенки, там крестовина набита — никто, значит, не живет.

— Что за беда стряслась? Куда все подевались?

Сел Василий на крылечко, задумался. В городке вовсе тихо. Только все-таки еще копошатся люди. То двери скрипнут,

то кашлянет кто, слово какое долетит. И вот слышит Василий — близенько кто-то не то поет, не то причитает:

Лебедь ты мой, Васенька!
Где летаешь ты, где плаваешь?
Поглядеть одним бы глазонькoм,
Перемолвиться словечушком!

Поет эдак, собирает разные девичьи жалостливые слова про кручину свою лютую да про злую разлучницу, как она насмеялася, угнала лебедя милого, загубила его батюшку родимого, милых братцев в беду завела.

Слушает Василий — про него песня сложена, голос густой да ласковый, а кто поет — домекнуть не может.

Тут другой голос слышно стало. Вроде как мать заворчала:

— Опять ты за свое! Добры люди спать легли, а ей все угомону нет! Про лебедя своего воет! Возьму вот за косу! Не погляжу, что в сажень вымахала! Бесстыдница!

Тут только Василий понял, кто песню пел. В близком соседстве росла долгоногая да глазастая девчушка-хохотушка, Аленкой звали. Года на четыре, а то и на пять помоложе Василья. Он и считал ее маленькой, а того не приметил, как из нее выровнялась девица — голову отдай, и то мало! Да еще вон какие песни складывает!

Затихли голоса, и песни не стало, а все-таки Василий чует — не ушла Аленка из ограды, на крылечке сидит.

Василья и потянуло на ласковый девичий голос. Выбрался из своей ограды, подошел к соседней избушке и окликнул потихоньку:

— Аленушка!

Та ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась:

— Что скажешь, Василий Тимофеич?

Удивился Василий:

— Как ты в потемках меня разглядела?

Она усмехнулась:

— Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днем, а то и лучше.

Потом без шутки сказала:

— С вечера твоих лебедей углядела и подумала — скоро ты должен в городке объявиться. Вот и сидела, караулила да голос подавала, чтоб упредить тебя.

Тут Алена и рассказала все по порядку.

Баушка Ульяна с весны померла. Воевода хоть лютовал, а семейных у Василья сперва не задевал. Да на беду сам Строганов приехал. Как узнал про побег, так принародно на воеводу медведем заревел:

— Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняешь людей без толку, будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную принес и чтоб другим неповадно было в бега кинуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами.

И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батоги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, отправить на самую тяжелую работу — соль в кулях перетаскивать к пристаням, а дом и все добро на себя перевел.

Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушел, и велел их батожьем бить и на солетаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил.

Как поехать из города, велел Строганов народ собрать и погрозился:

— Кто увидит утеклеца Ваську, да не доведет мне, тому это же будет!

Сказывали потом, что Тимофей после батогов-то недолго проработал, а братья живы. Ну, а воеводина дочь вскорости за строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают, похвалялась — вот-де я какая, глазом мигну, так любого парня вокруг пальца оберну! Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василья, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенько этого холопа проучил. Пусть свое место помнит!

Выслушал все это Василий, да и говорит:

— Спасибо тебе, Аленушка, осветила мне дорогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет! А ту змею ногой раздавлю! Эх, не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет.

— Слово скажи — за тобой пойду.

Василий подумал-подумал и говорит:

— Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдет. Семейно по ней не пройдешь.

— Коли, — отвечает, — так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один!

Василий притуманился.

— Ты, Аленушка, все-таки подожди меня годок-другой!

Алена так и вскинулась:

— Об этом не говори, Василий Тимофеич! Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях век не будет.

Тут наслезилась она, девичьим делом, и подает ему узелок.

— Возьми-ко, лебедь мой, Васенька! Не погнушайся хлебушком с родной стороны да малым моим гостинчиком. Рубахи тут да поясок браный. Носи — не забывай!

Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперед угадала, что придет, сам чуть не прослезился и говорит:

— Не осуди, моя лебедушка, коли худо про меня сказывать будут.

— Худому про тебя, — отвечает, — не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься!

На том они и расстались. Ушел Василий, никому больше не показался. Вскорости слух прошел: появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте солевосов увели, в другом — приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заговорили, — поселились будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки и строгановским караванам проходу не дают. И вожаком будто у этих вольных людей Василий Кормщик.

Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось, — они и ушли, а куда — неизвестно. Слуху о них не стало. О Василье в городке и поминать перестали. Одна Аленушка не забыла.

— Где-то лебедь мой летает? Где он плавает?

Сколь отец с матерью ни бились, не пошла Алена замуж. Да и женихов у ней не много было. Она, видишь, хоть при-

гожая и на доброй славе была, а сильно рослая. Редкий из парней подходил ей в пару, а она еще подсмеивалась:

— Какой это мне жених! Ненароком сшибешь его локтем — на весь городок опозоришь.

Так и осталась Алена одна век вековать. Как обыкновенно, рукодельницей стала, — ткальей да пряльей. По всему городу лучше ее по этому делу не было. Да еще любила с ребятишками водиться. Всегда около нее много мелочи бегало. Алена умела всякого обласкать. Кого покормит, кого позабавит, кому песню споет, сказку скажет. Любили ее ребята, а матери прозвали Аленушку — Ребячья Радость и, как могли, ей сноровляли.

Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Аленушка. Присекаться волос стал, черную косу белые ниточки перевили, только глаза ровно еще больше да краше стали.

К этой поре старые хозяева Строгановы все перемерли. На их место сыновья заступили. Народу на Чусовой умножилось. Сибирского хана сын с войском нежданно-негаданно на Чусовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василья вспоминали:

— Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы было. Спозаранок бы он разведал про незваных гостей и гостинцев бы им припас не столько. Напредки забыли бы дорогу к нашему городу! Дорогой человек по этому делу был. Зря его загубили!

Вскорости после этого слух прошел — к Строгановым поволжские вольные казаки плывут, а ведет их атаман Ермак Тимофеич.

— По всей Волге на большой славе тот человек. Не то что бухарские и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И ватага у того атамана на отбор.

У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он и других к тому не допускал. По этому правилу и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, такого сейчас из ватаги долой.

— Нам, — скажет атаман, — с такой слабиной людей не надо! Как тебе ватага поверит, коли ты о себе одном стараешься. Иди на все стороны да со мной, гляди, напредки не встречайся, а то худой разговор выйдет!

И крепко то атаманское слово было. Не помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать, да и отговаривается, — не доглядел этого пустяка.

— Это, — отвечает атаман, — не пустяк, потому — может раздор в артели сделать. В первую голову всяк за этим гляди, чтоб у нас все шло на артель, в одну казну, в один котел!

За это будто атамана и прозвали Ермаком, как это слово по-татарски, сказывают, котел обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, по отцу величают, как обыкновенно у нас ведется. И еще сказывали, — не любит атаман Ермак, чтоб ватажники себя семьями вязали. Сам одиночкой живет и других к тому склоняет:

— Трудная наша дорога. Не по такой дороге семейно ходить да детей ро́стить.

Слушает эти разговоры Алена и дивится:

— Его слова! И Тимофеичем величают. Не он ли? Лебедь мой, Васенька?

К осени опять слух донесся:

— К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет.

Все, понятно, ждут. Как пришла весточка, в какой день будут, весь народ из городка на берег высыпал, и Аленушка туда же прибежала.

Завиднелись струги. Легко против осенней воды на веслах идут. Песни казаки поют. Поближе подходить стали, в народе говорок пошел, как диво какое увидели.

Глядит Алена, а у переднего струга два лебедя плывут и на шеях у них как искорки посверкивают: у одного красненькая, у другого синенькая.

Как стали струги к берегу подваливать, лебеди поднялись с воды, покружились над городком и на восход солнца улетели.

Первым на берег атаман вышел. Годов за полсотни ему. По кучерявой бороде серебряные струйки пробежали, а поглядеть любо. Высок да статен, в плечах широк, бровь густая, глаз веселый да пронзительный.

Одет ровно попросту,— не лучше других казаков. Только сабля в серебре да в дорогих каменьях.

Глядит Алена — он ведь! Он самый! — а все признать не насмелится. Да тут и углядела — рубаха-то у атамана пояском ее работы опоясана. Чуть не сомлела Аленушка, все-таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит белехонька да с атамана глаз не сводит.

А он своим зорким глазом еще со струга Аленушку приметил и по девичьему убору догадался, что незамужницей осталась.

Поздоровался атаман с народом, потом подошел к Аленушке, поклонился ей рукой до земли, да и говорит:

— Поклон тебе низкий от вольного казацкого атамана Ермака, а как его по-другому звать — сама ведаешь. Не обессудь, моя лебедушка, что в пути запозднился. Не своей волей по низу до седых волос плавал, когда смолоду охота была против верховой воды плыть. И на том в обиде не будь: не забывал тебя и поясок твой ни в бою, ни в пиру с себя не снимал.

Поговорили они тут. Понял тогда народ, кто есть донской казак атаман Ермак, какого он роду-племени, в каком месте его лебедушка ко гнезду ждала.

Два дня, а то и три простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев да друзей своих из неволи вызволил, как с ними строгановские караваны топил, как потом на Дону казачил да по Волге гулял. Ну, все как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришел.

— Много, — говорит, — в нашу казну богатства добывали, а нет против того, какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали.

Вот и надумал тем богатством себе и всей ватаге — головы откупить, а кому не случится голову свою вынести — тому добрую память в людях оставить. Лебеди как подслушали мою думу... Давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть куда надумал. Всю дорогу с нами плывут, а где остановка — улетают, и всегда в ту сторону, куда дальше путь идет...

В осенний праздник, в Семенов день, собрался атаман

дальше плыть. Из Чусовского городка народу в войско прибыло. Ну, и проводы вышли вроде как семейные, потому — с заезжими казаками своих отправляли. На берег многие так семьями и шли, — кто брата, кто сына провожал.

Аленушка рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядится праздничным делом, так еще заглядишься.

Атаман тоже для такого случая приоделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шелку, а сабля и протчая орудия — глаза зажмурь. И то углядели люди — новый у атамана поясок. Широкий такой, небывалого узору: по голубой воде белые лебеди плывут. Это, видно, Аленушка опоясала своего лебедя на незнамую дальнюю дорогу.

И вот идут они, как лебедин да лебедушка. Оба высокие да статные, красивые да приветные, как погожий день в осени. Далеко их в народе видно. А кругом ребятишки-мелочь вьются. Это Аленушкины прикормленники да приспешники со всего города сбежались. Известно, большому лестно, а малому и подавно охота близко такого атамана поглядеть, рядом по улице пройти.

Как атаман на берег, так лебеди — на воду, сразу кверху поплыли, оглядываются да покрикивают:

— Клип-анг! Клип-анг!

Вроде поторапливают:

— Пора, атаман! Пора, атаман!

Тут атаман простился с народом, с Аленушкой на особицу, сам на струг — и велел отваливать.

Отплыл — и концы в воду.

Сперва добрые вести доходили, как Ермак с войском сибирского хана покорил и все города побрал, как Грозный царь за это всем казакам старые вины простил и подаренье свое царское отправил. И про то сказывали, будто велел Грозный царь сковать атаману для бою кольчатую рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились царевы бронники, как Ермаковы посланцы стали про атаманов рост сказывать. Сильно сомневались в том бронники, все-таки сковали рубаху, как было указано, от вороту до подолу два аршина, а в плечах — аршин с четвертью, и золотых орлов посадили.

Прикинь-ко, какой силы и росту человек был, коли мог эку тягость на себе в бою носить!

Радовалась Аленушка этим вестям. Всем ребятишкам, какие около нее вились, рассказывала — вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый.

Года два такими вестями Аленушка тешилась, потом перемена вышла: вовсе не слышно стало о казацком войске, как снегом путь замело. Долго ждала Аленушка, да и дождалась: в осенях приползла в городок черная молва:

— Мало в живых казаков осталось, и сам атаман загиб. Изменой заманили его с малым войском да ночью, как все казаки спали в лодках, и навалились многолюдством. Атаману, видно, надо было с одной лодки на другую перескочить, да опрометился он и попал в воду на глубокое место. В кольчатой-то рубахе царского подаренья и не смог выплыть. И лебеди не могли атамана ухранить, потому — ночью дело вышло, а эта птица, известно, ночью не видит.

Выслушала все это Аленушка, слова не выронила и ушла в свою избу, а вскоре ребятишки по всему городу заревели — умерла Аленушка.

Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — умерла Аленушка, Ребячья Радость. Лежит на скамейке у окошечка, и руки на смерть сложены, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в каком она атамана в поход провожала. Поплакали тут которые, вспоминаючи тот день, пожалели:

— Вот пара была, да гнезда не свила.

От какой причины нежданная смерть Аленушке пришла, так никто и не узнал. На том решили:

— По-лебединому умерла наша Аленушка. У них ведь известно, как ведется: один загиб — другому не жить.

Так вот оно как дело-то было! Приплыл донской казак на родиму сторонку — на реку Чусовую. Это присловье про Ермака и сложено. В прежни-то годы, сказывают, такое часто случалось. Набродно на Дону было, — со всех сторон туда люди сбегались, кому дома невмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, Васильем Тимофеичем Алениным звали, а на Дону да по Волге он стал Ермак Тимофеич.

Здешние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат, вожака не надо было! Сам первый вожак по речным дорогам

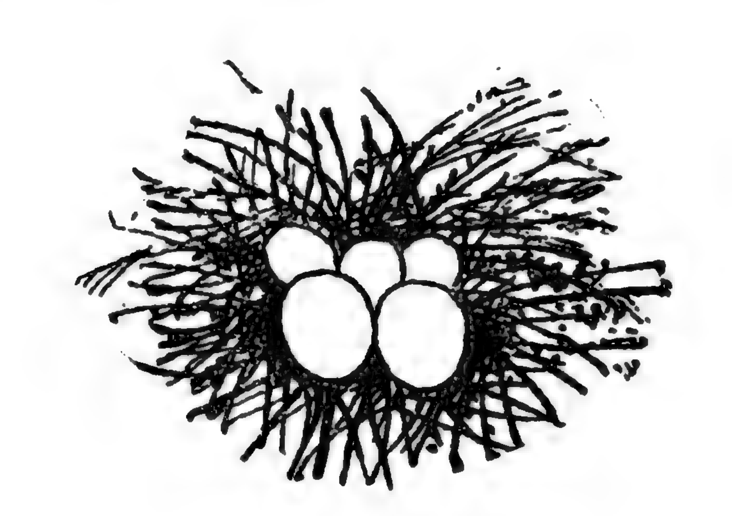
был! И то ни в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили.

Куда потом эти лебеди улетели — сказать не умею.

По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибет, добра себе не жди: беспременно нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Такому и вовсе свое земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась — ставили деревянных лебедей на воротах.

А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это им и почет, и Василью Тимофеичу с Аленушкой память. Это — что парой-то!

Вот в чем тут загвоздка.



ЗОЛОТОЙ ВОЛОС

Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, видишь, для скота приволье требуется, где еланки да степочки. На нязях там, по Ураиму, а тут где же? Теперь лес — в небо дыра, а в ту пору — и вовсе ни пройти, ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял.

И был, сказывают, в башкирах охотник один, Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелы бил, сохатого за рога схватит да через себя бросит — тут зверю и конец. Про волков и протча говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлып его увидел.

Вот раз едет этот Айлып на своем коне по открытому месту и видит — лисичка бежит. Для такого охотника лиса — добыча малая. Ну, все-таки, думает: «Дай позабавлюсь, плеткой пришибу». Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить, а лисички — быть-бывало. Ну что? Ушла так ушла — ее счастье. Только подумал, а лисичка, вон она за пенечком сидит да еще потявкивает, будто смеется: «Где тебе!»

Приловчился Айлып стрелу пустить — опять не стало лисички. Опустил стрелу — лисичка на глаза да потявкивает: «Где тебе!»

Вошел в задор Айлып: «Погоди, рыжая!»

Еланки кончились, пошел густой-прегустой лес. Только это Айлыпа не остановило. Слез он с коня да за лисичкой пешком,

а удачи все нет. Тут она, близко, а стрелу пустить не может. Отступиться тоже неохота. Ну как — этакий охотник, а лису забить не сумел! Так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал — нет.

«Дай,— думает,— огляжусь, где хоть я».

Выбрал листвянку повыше, да и залез на самый шатер. Глядит — недалечко от той листвянки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камешками разговаривает и в одном месте так блестит, что глаза не терпят. «Что, думает, такое?» Глядит, а за кустом на белом камешке девица сидит красоты невиданной, неслыханной, косу через плечо перекинула и по воде конец пустила. А коса-то у ней золотая и длиной десять сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят.

Загляделся Айлып на девицу, а она подняла голову, да и говорит:

— Здравствуй, Айлып! Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя наслышана. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж?

— А какой,— спрашивает,— за тебя калым платить?

— Какой,— отвечает,— калым, коли мой тятенька всему золоту хозяин. Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости да ума хватит.

Айлып рад-радехонек. Соскочил с листвянки, подбежал к тому месту, где девица сидела, да и говорит:

— Коли твое желанье такое, так про меня и слов нет. На руках унесу, никому отбить не дам.

В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит:

— Эх, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь! Силой да удачей похваляешься. А не мог вот в меня стрелу пустить.

— Правда твоя,— отвечает.— В первый раз со мной такая оплошка случилась.

— То-то и есть! А тут дело похитрее будет. Эта девица — Полозова дочь, прозывается Золотой Волос. Волосы у нее из чистого золота. Ими она к месту и прикована. Сидит да косу полощет, а весу не убывает. Попытай вот, подыми ее косыньку,— узнаешь, впору ли тебе ее снести.

Айлып,— ну, он из людей на отличку, вытащил косу и давай ее на себя наматывать. Намотал сколько-то рядов, да и говорит той девице:

— Теперь, милая моя невестушка Золотой Волос, мы накрепко твоей косой связаны. Никому нас не разлучить!

С этими словами подхватил девицу на руки, да и пошел. Старушонка ему ножницы в руку сует.

— Возьми-ко ты, скороумный, хоть это.

— На что мне? Разве у меня ножа нет?

Так бы и не взял Айлып, да невеста его Золотой Волос говорит:

— Возьми — пригодятся, не тебе, так мне.

Вот пошел Айлып лесом. С листвянки-то он понял маленько, куда правиться. Сперва бойко шел, только и ему тяжело, даром что сила была — с людьми не сравнишь. Невеста видит — Айлып притомился — и говорит:

— Давай я сама пойду, а ты косу понесешь. Легче все-таки будет. Дальше уйдем, а то хватится меня тятенька, живо притянет.

— Как,— спрашивает,— притянет?

— Сила,— отвечает,— ему такая дана: золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивать. Пожелает вот взять мои волосы, и уж тут никому против не устоять.

— Это еще поглядим!— отвечает Айлып, а невеста его Золотой Волос только усмехнулась.

Разговаривают так-то, а сами идут да идут. Золотой Волос еще и поторапливает:

— Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькиной силы не хватит.

Шли-шли, невмоготу стало.

— Отдохнем маленько,— говорит Айлып. И только они сели на траву, так их в землю и потянуло. Золотой Волос успела-таки, ухватила ножницы, да и перестригла волосы, какие Айлып на себя намотал. Тем только он и ухранился. Волосы в землю ушли, а он поверх остался. Вдавило все-таки его, а невесты не стало. Не стало и не стало, будто вовсе не было. Выбился Айлып из ямины и думает: «Это что же? Невесту из рук отняли и неведомо кто! Ведь это стыд моей голове! Никогда тому не бывать! Живой не буду, а найду ее».

И давай он в том месте, где девица та сидела, землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Силы, вишь, у Айлыпа много, а струменту — нож да шапка. Много ли ими сделаешь.

«Надо,— думает,— заметку положить да домой сходить, лопату и протча притащить».

Только подумал, а лисичка, которая его в те места завела, тут как тут. Сунулась носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась, да и говорит:

— Эх ты, скороум, скороум! Ты золото добывать собрался али что?

— Нет,— отвечает,— невесту свою отыскать хочу.

— Невеста твоя,— говорит,— давным-давно на старом месте сидит, слезы точит да косу в речке мочит. А коса у ней стала двадцать сажен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять.

— Как же быть, тетушка?— спросил Айлып.

— Давно бы,— говорит,— так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись. А дело твое будет такое. Ступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в три года невесту свою Золотой Волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе ее больше не увидишь.

Не привык Айлып так-то ждать, ему бы схвату да сразу, а ничего не поделаешь — надо. Пригорюнился и пошел домой.

Ох, только и потянулись эти три годочка! Весна придет, и той не рад,— скорее бы она проходила. Люди примечать стали — что-то подеялось с нашим Айлыпом. На себя не походит. Родня, та прямо приступает:

— Ты здоров ли?

Айлып ухватит человек пять подюжее на одну руку, поднимет кверху, покрутит да скажет:

— Еще про здоровье спроси — вон за ту горку всех побросаю.

Свою невесту Золотой Волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на нее, да наказ той старушонки помнит, не смеет.

Только вот когда третий год пошел, увидел Айлып девчонку одну. Молоденькая девчоночка, из себя чернявенькая и веселая, вот как птичка-синичка. Все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчоночка мысли у Айлыпа и перешибла. Заподумывал он:

«Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись, а я нашел невесту, да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает: засмеяли бы! Не жениться ли мне на этой чернявенькой? Там-то еще выйдет либо нет, а тут

калым заплатил и бери жену. Отец с матерью рады будут ее отдать, да и она, по всему видать, плакать не станет».

Подумает так, потом опять свою невесту Золотой Волос вспомнит, только уж не по-старому. Не столь ее жалко, сколь обидно — из рук вырвали. Нельзя тому попускаться!

Как кончился третий год, увидел Айлып ту лисичку. Стрелу про нее не готовил, а пошел, куда та лисичка повела, только дорогу примечать стал: где лесину затешет, где на камне свою тамгу выбьет, где еще какой знак поставит. Пришли к той же речке. Сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала. Подошел Айлып, поклонился:

— Здравствуй, невеста моя любезная, Золотой Волос!

— Здравствуй,— отвечает,— Айлып! Не кручинься, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнил. Каждый день чуяла — легче да легче стает. Напоследок только заминка вышла. Не забывать ли стал? А то, может, кто другой помешал?

Спрашивает, а сама усмехается, вроде как знает. Айлыпу стыдно сперва сказать-то было, потом решился, начистоту все выложил — на девчонку-де черняевенькую заглядываться стал, жениться подумывал.

Золотой Волос на это и говорит:

— Это хорошо, что ты по совести все сказал. Верю тебе. Пойдем поскорее. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина сила не возьмет.

Вытащил Айлып косу из речки, намотал на себя, взял у няни-лисички ножницы, и пошли они лесом домой. Дорожка-то у Айлыпа меченая. Ходко идут. До ночи шли. Как вовсе темно стало, Айлып и говорит:

— Давай полезем на дерево. Может, сила твоего отца не достанет нас с дерева-то.

— И то правда,— отвечает Золотой Волос.

Ну, а как двоим на дерево залезть, коли они косой-то, как веревкой, связаны. Золотой Волос и говорит:

— Отстригнуть надо. Зря эку тягость на себе таскаем. Хватит, если до пят хоть оставить.

Ну, Айлыпу жалко.

— Нет,— говорит,— лучше так сохранить. Волосы-то, вишь, какие мягкие да тонкие! Рукой погладить любо.

Вот размотал с себя Айлып косу. Полезла сперва на дере-

во Золотой Волос. Ну, женщина — непривычно дело — не может. Айлып ей так-сяк подсобляет — взлепилась-таки до сучков. Айлып за ней живехонько и косу ее всю с земли поднял. По сучкам еще взмостились сколько да в самом том месте, где вовсе густой плетень, останов и сделали.

— Тут и переждем до свету,— говорит Айлып, а сам давай свою невесту косой-то к сучкам припутывать — не свалилась бы, коли задремать случится. Привязал хорошо да еще похвалился:— Ай-яй крепко! Теперь сосни маленько, а я покараулю. Как свет, так и разбужу.

Золотой Волос, и верно, скорехонько уснула, да и сам Айлып заподремывал. Такой, слышь-ко, сон навалился, никак отогнать не может. Глаза протрет, головой повертит, так-сяк поворочается — нет, не может тот сон одолеть. Так вот голову-то и клонит. Птица-филин у самого дерева вьется, беспокойно кричит — фубу! фубу!— ровно упреждает: берегитесь, дескать. Только Айлыпу хоть бы что — спит себе, похрапывает и сон видит, будто подъезжает он к своему кошу, а из коша его жена Золотой Волос навстречу выходит. И всех-то она краше да милее, а коса у ней так золотой змеей и бежит, будто живая.

В самую полночь вдруг сучья затрещали — загорели. Айлыпа обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало и невеста его Золотой Волос стала как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып — ничем-ничего, и потемки опять, хоть глаз выколи. Шарит руками по земле... Ну, трава, да камешки, да сор лесной. В одном месте нашарил-таки конец косы. Сажени две, а то и больше. Повеселел маленько Айлып.

«Памятку оставила и знак подала. Можно, видно, добиться, что не возьмет отцова сила ее косу».

Подумал так, а лисичка уж под ногами потявкивает. Сунулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит:

— Эх ты, Айлып скороумный! Тебе что надо: косу али невесту?

— Мне,— отвечает,— невесту мою надо с золотой косой на двадцать сажен.

— Опоздал,— говорит,— коса-то теперь стала тридцать сажен.

— Это,— отвечает Айлып,— дело второе. Мне бы невесту мою любезную достать.

— Так бы и говорил. Вот тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди три года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри, час в час, не раньше и не позже. Покланяйся еще дедку Филину, не прибавит ли тебе ума.

Сказала — и нет ее. Как светло стало, пошел Айлып домой, а сам думает:

«Про какого это она филина сказывала? Мало ли их в лесу. Которому кланяться?»

Думал-думал, да и вспомнил,— как на дереве сидел, так вился один у самого носу и все кричал — фубу! фубу!— будто упреждал: берегись, дескать.

«Беспременно про этого говорила»,— решил Айлып и воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать:

— Дедко Филин! Научи уму-разуму! Укажи дорогу!

Кричал-кричал — никто не отозвался. Только Айлып терпеливый стал. Еще день переждал и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлып третий день переждал.

Вечером только крикнул:

— Дедко Филин!

А с дерева-то сейчас:

— Фубу! Тут я. Кому надо?

Рассказал Айлып про свою незадачу, просит пособить, коли можно, а Филин и говорит:

— Фубу! Трудно, сынок, трудно!

— Это,— отвечает Айлып,— не горе, что трудно. Сколь силы да терпенья хватит, все положу, только бы мне невесту мою добыть.

— Фубу! Дорогу скажу! Слушай!

И тут Филин рассказал по порядку:

— Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин: у кого хочешь отберет. И может Полоз все место, где золото родится, в свое кольцо взять. Три дня на коне скачи, и то из этого кольца не уйдешь. Только есть все-таки в наших краях одно место, где Полозова сила не берет. Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недешево это стоит,— обратного ходу не будет.

Айлып и давай просить:

— Сделай милость, покажи это место.

— Показать-то,— отвечает,— не смогу, потому глазами с тобой разошлись: днем я не вижу, а ночью тебе не углядеть, куда полечу.

— Как же,— спрашивает,— быть?

Дедко Филин тогда и говорит:

— Приметку надежную скажу. Побегай, погляди по озерам и увидишь,— в одном посередке камень тычком стоит вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трех — голым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж Полозу не взять.

Айлып перевел все это в голове — и смекнул, на озеро Иткуль приходится. Обрадовался, кричит:

— Знаю это место.

Филин свое толмит:

— А ты побегай все-таки, погляди, чтоб оплошки не случилось.

— Ладно,— говорит,— погляжу.

А Филин напоследок еще добавил:

— Фубу! Про то не забудь: от Полоза уйдешь, обратного ходу не будет.

Поблагодарил Айлып дедку Филина и пошел домой. Вскорости нашел он то озеро с камнем в середине и сразу смекнул:

«В день до этого места не добежать, беспременно надо конскую дорогу наладить».

Вот и принялся Айлып дорогу прорубать. Легкое ли дело одному-то да по густому лесу на сотню верст с лишком! Когда и вовсе из сил выбьется. Вытащит тогда косу — конец-то ему достался,— посмотрит, полюбуется, рукой погладит и ровно силы наберет да опять за работу. Так у него три-то года незаметно и промелькнули, только-только успел все сготовить.

Час в час пришел Айлып за своей невестой. Вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, а там шесть лошадей приготовлено. Сел Айлып на коня, невесту свою посадил на другого, четверку на повода взял, да и припустили, сколько конской силы хватило. Притомится пара — на другую пересядут да опять гнать. А лисичка впереди. Так и стелет, так и стелет, коней задорит — не догнать-де. К вечеру успели-таки до озера добраться. Айлып сразу на челночек, да и перевез невесту свою

с лисичкой к озерному камню. Только подплыли — в камне ход открылся; они туда, а в это время как раз и солнышко закатилось.

Ох, что только тут, сказывают, было! Что только было!

Как солнышко село, Полоз все то озеро в три ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою все-таки вытащить не мог. Филин Полозу вредил. Сел на озерный камень, да и заладил одно:

— Фубу! фубу! фубу!

Прокричит этак три раза, огненные кольца и потускнеют маленько,— вроде остывать станут. А как разгорятся снова да золотые искры шибко по воде побегут, Филин опять закричит.

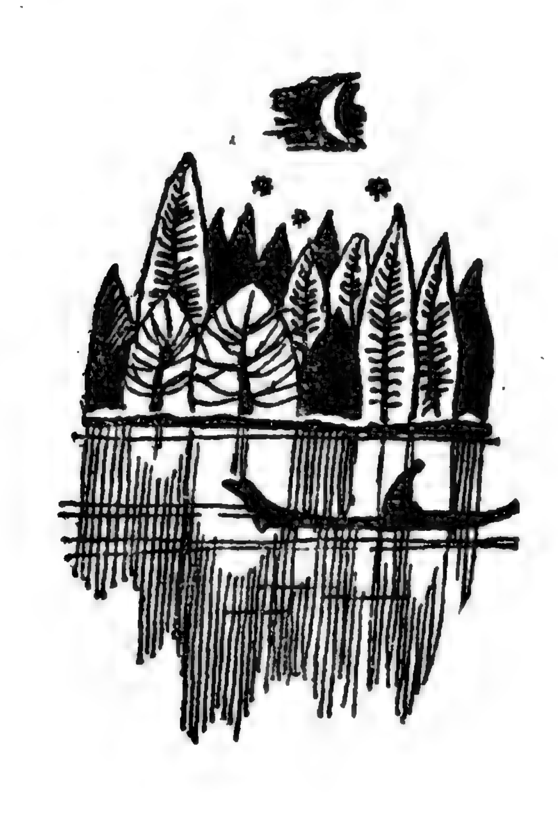
Не одну ночь Полоз тут старался. Ну, не мог. Сила не взяла.

С той поры на заплесках озера золото и появилось. Где речек старых и следа нет, а золото есть. И все, слышь-ко, чешуйкой да ниточкой, а жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему тут, золоту, быть? Вот и сказывают, что из золотой косы Полозовой дочки натянуло. И много ведь золота. Потом, уж на моих памятях, сколько за эти заплески ссоры было у башкир с каслинскими заводчиками.

А тот Айлып со своей женой Золотой Волос так под озером и остался. Луга у них там, табуны конские, овечьи. Однем словом, приволье.

Выходит, сказывают, Золотой Волос на камень. Видали люди. На заре будто выйдет и сидит, а коса у ней золотой змеей по камню вьется. Красота будто! Ох, и красота!

Ну, я не видал. Не случалось. Лгать не стану.



ДОРОГОЕ ИМЕЧКО

Это еще в те годы было, когда тут стары люди жили. На том, значит, пласту, где поддерново золото теперь находят.

Золота этого... кразелитов... меди... полно было. Бери сколько хочешь. Ну, только стары люди к этому не свычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Крупинки желтеньки да песок, а куда их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда лежит примерно на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторону — только и заботы. А то еще такая, слышь-ко, мода была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они, видишь, маленькие, а увесистые. В руках держать ловко, и бьет емко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это старые люди разбросали где пришлось.

Медь самородну, ту добывали маленько. Топоры, слышь-ко, из нее делали, орудию разную. Ложки-поварешки, всякую домашность тоже.

Гумешки-то нам от старых людей достались. Только, конечно, шахты никакой не били, сверху брали, не как в нонешнее время.

Зверя добывали, птицу-рыбу ловили, тем и питались. Пчелы дикой множина была. Меду — сколько добудешь. А хлеба и званья не было. Скотину: лошадей, напримерно, коров, овцу — не водили. Понятия такого у них не было.

Были они не русськи и не татара, а какой веры-обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Однем словом, стары люди.

Домишек у них либо обзаведенья какого — банешек там, погребушек — ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход-от был. Теперь его не видно — соком завалили. Поди сажен уж на десять. А самоглавная пещера в Азов-горе была. Огромаднейшая — под всюё гору шла. Теперь ход-от есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. Об этом и сказ будет.

Вот живут себе стары люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. Только стали по этим местам другие народы проявляться. Сперва татара мимо заездили: по подгорью от Думной горы к Азов-горе тропу протоптали. С полдня на полночь, как из оружья стрелено. Теперь этой тропы не знатко, а старики от дедов своих слыхали, будторане-то видно было. Широкая, слышь-ко, тропа была, чисто трахт какой, без канав только.

Ну, ездят и ездят татара. В одну сторону одни товары везут, в другу — други, а насчет золота ничего. Видно, сами не то́лкуют, либо случая такого не подошло. Стары люди сперва прихоронились. Потом видят,— никто их не задевает — стали жить потихоньку. Птицу-рыбу полавливают, золотыми камнями зверя глушат, медными топорами добивают.

Вдруг татара что-то сильно закопошились. Целыми утугами на полночь пошли, и все с копьями, с саблями, как на войну. Мало спустя обратно побежали. Гонят, свету не видят. А это Ермак с казаками на Сибирь пришел и всех тамошних татар побил. Которые пособлять своим приходили, и тех до смерти перепугал. Как дело тогда внове было — из оружья стрелять, татара этой стрельбы и забоялись.

Казаки, слышь-ко, ране вольные были, и на Сибирь они уж проданные пришли. Купцам продалися, а царь их вовсе задарил. На́большему — Ермаку-то — свою серебряную рубаху царь послал. Так Ермак той рубахи с себя не сымал. Гордился, значит. Так и утоп в ей — в царском-то подаренье.

Как умер Ермак, тут баловство и развелось. Ну, мало ли худых людишек к казакам налипло. Они и давай хозяевать, как кому любо. Возьмут, кого им надо, за горло. Пода-

вай того-другого. Баб хватают, девчонок, вовсе подлетков и протча. Однем словом, баловство развели — хуже некуда.

Одна такая ватажка и объявилась в здешних местах. Небольшая ватажка,— пеши пришли; а вожак, видать, грабастенькой попался. Эти сразу золото сметили. Хватовщина пошла, чуть до смертоубийства не дошло. Потом образумились, видят — золота много, с собой не унесешь. Что делать? Туда-сюда зачали соваться, нет ли где жила близко, лошадей добыть. И набежали так-то на старых людей. Сейчас спрашивать, конечно:

— Что за народ? Какой веры-племени? Какому царю ясак даешь?

Стали так-то наступать на старых людей. Те им свое маячат,— дескать, ваша нам не нужна, наша вам не мешает, проходите мимо. Казачишки опять на испуг берут. Из оружья пальнули. Стары люди испужались, в гору побежали. Казачишки за ими, думают, так и есть — победили, а не тут-то было. Стары люди смелые были. Это они сперва только испужались. Думали, огонь, напримерно, с неба. Ну, потом отошли. И здоровые были. Добежали, значит, до пещеры своей, да как начали казачишек золотыми камнями пушить, знай держись. Чуть не всех заколотили, казаков-то. Двое либо трое все-таки убежали. А стары люди и гнаться за ими не думали. Утурили — и ладно. Пущай-де идут, куда им надо. Лишь бы к нам больше не лезли. Подивились на убитых, что у них нахватано у каждого желтых камешков через число, как только тащили экую тягость, а того не смекнули, на что им эти камни. По-своему думали, что тоже для бою набрали. Осмотрели оружья убитых, а одно было заряжено. Вот один из старых людей вертел, вертел оружье-то, копался, копался, оно и пальнуло. Сполоху наделало, самого маленько ушибло, а никого не убило. Тут стары люди и домекнули, что это не с неба огонь. Стали доходить, как бы еще пальнуть. Оснимали мертвых, все перещупали, осмотрели, обнюхали. Порох нашли, свинец рубленый, а что к чему, так и не добрались.

А те трое-то, которые убежали, вышли-таки к своим. Обсказали своему начальнику — напали, дескать, на нас незнамые люди и чуть не всех побили; трое вот только и выбежали.

Начальник,— может, он пьяный был,—«ладно»,— говорит. Время, конечно, военное — Сибирь-покоренье-то. Мало ли вся-

ких случаев было. Побили и побили. На том дело и заглохло. А про золото те не сказали. Думают, так и есть — погуляем, потешимся. Только золото оно и золото. Хоть веско, а само кверху лезет. Его, видишь, первым делом разменять требуется. Тут они оха и поймали. Хватили самородки покрупнее, а как с таким объявишься? Сейчас спросы-распросы, где взял... Догадались все-таки. Раскрошили самородки на мелочь, да и понесли купцам продавать. А уж таиться стали один от другого. Известно, золото. Один к одному купцу пришел, другой к этому же и третий тоже. Да так всех купцов и обошли. Купцы, конечно,— с полным нашим удовольствием. Деньги, значит, дают, а сами примечают. Денег наменяли — куда их? Оделись первонаперво, как только кто удумал, и занялись пьянством да гулянкой. Из кабака, напримерно, не выходят и кого доходя поят. Ну, другим казакам и стало подозрительно,— откуда у людей такие деньги? Стали дознаваться, а у пьяных долго ли... Выведали все до тонкости и тоже ватажку сбивать стали: за золотом, значит, сходить.

Не все, конечно, казаки одинаковы были. Один,— не знаю, как его звать-величать,— из Соликамска к нам пристал. Пошел за хорошей жизней, а видит, тут грабеж да пьянство, и отшатился от казаков.

Услышал, что опять собираются грабить, и стал их совестить:

— Как, дескать, вам не стыдно. Раньше купцов да бояр оглаживали, а теперь что? У здешнего народу с кровью рвать да купцам барыш давать? Так, что ли?

Тем, конечно, не по носу табак, а как все оборуженные, то сейчас у них свалка пошла, с саблями и другой орудией. Ну, соликамской-от этот парень проворный был, удалой. Ото всех отбился, только сильно его изранили. Он в лес и убрался, чтобы его не нашли. Леса страшные были — где найдешь! Побегали-побегали казачишки, пошумели и разошлись, а тот, раненый-то, думает, как дальше быть? Показаться в жиле — наверняка убьют, а то и под палача подведут — за разговор-от. Вот и придумал:

— Пойду к тем людям, которых грабить собираются. Упрежу их.

Дорогу он понял, куда то есть идти собирались. Путь все-таки не ближняя, а запасу у него, например, никакого. Отощал

в дороге, да еще и раны донимают. Еле идет. Полежит-полежит и опять плетется. У самой Азов-горы — вот у того места — совсем свалился.

Увидали стары люди — чужестранный человек лежит, весь кровью измазанный, и оружье с им. А бабы набежали первые-то. Баба, известно, у всякого народа жалостливее и за ранеными ходить любит. Тут еще девка случилась, ихнего старшины дочь. Смелая такая, расторопная, хоть штаны на такую надевай. И красивая — страсть. Глаза как угольки, щеки как розан расцвел, коса до пяток и вся протча в полном аккурате. Лучше нельзя. Плясать первая мастерица, а ежели песню заведет с переливами, ну... Однем словом, любота. Одно плохо — сильно большая была. Прямо сказать, великанша. И как раз девка на выданье. Восемнадцатый год доходил. Самая, значит, пора. Ну, ей и приглянулся, видно, пришлый-то. А он тоже, по-нашему, мужик рослый был. Из себя чистый, волосом кудрявый, глаза открытые. Ей и любопытно стало. Пока другие бабы охали да ахали, эта девка сгребла раненого в охапку, притащила в пещеру и давай за им ходить — водой там смачивать, раны перевязывать. Отец, мать ничего, будто так и надо. Соседи тоже помалкивают и помогают, подают то-другое. Бабам, вишь, жалко, а у мужиков свое на уме: не научит ли, как огонь пущать.

Раненый мало-помалу оклемался. Видит, какие-то вовсе незнамые люди. Рослые против наших и по-татарски бельмень. Сам-то он мараковал маленько по-татарски. На то и надеялся, когда шел в эти места. Ну, делать нечего, стал маяками дознаваться, как и что они прозывают. Учиться, значит, стал по-ихнему. А девка от его не отходит, прямо прилипла. И он тоже человек молодой, к ей тянется. Поправа, однако, плохо идет. Главная причина — хлебушка у их не было. Притащит это ему девка пищи самолучшей. Рыбы, мяса наставит, меду чашку вскрай полнехоньку, а его с души воротит. Ему бы хоть яшничка ломоток. Просит у ей, а она не понимает, какой есть хлеб. Заплачет даже. Это она-то. Известно, русському человеку без хлебушка невозможно. Какая уж тут поправа. Ну, все-таки ходить стал и разговору мало-мало обык, а девка обратно от его русський разговор переняла, да так скоро, что просто удивленье. Такая уж удачливая была и, видать, не простая. Тайная сила в ей, видно, гнездовала.

Стал это он — соликамский-от — ходить. Оглядел всю местность, показал, как с оружьем поступать, и весь установ объяснил, что и как.

— Эти,— говорит,— камни желтые, крупа, песок и зелененькие стеклышки — это есть самое вредное для вас. Купцы раз унюхали, они уж спокою не дадут. А до царя дойдет — и вовсе житья не станет. Вы,— говорит,— вот что сделайте. Камни эти, самородки-то, значит, куда с глаз уберите. Хоть вон в Азов-гору стаскайте. И кразелиты туда же сгребите. А крупу и песок зарыть надо. Снизу черной земли выворотить, чтобы травой заросло. А пока все это не угоите, никаких чужестранных близко не подпускайте... Чтобы нечаянно не пришли, поставьте,— говорит,— на Думной горе и на Азов-горе караулы надежные. Пущай досматривают по дороге, не идет ли кто, а как заметят чужестранного, пущай знак подают — костерок запалят...

Девка все это растолмачила своим. Они видят, человек для их старается — послушались. Караулы поставили, как он сказал, а сами занялись самородное золото да кразелиты подбирать да в Азов-гору стаскивать. Штабеля наворотили — глядеть страшно, и кразелитов насыпали, как угольну кучу. Потом оставшую крупу и песок зарыли, а чужих на то время близко не подпускали. Увидят с Азов-горы либо с Думной кто идет, едет ли,— сейчас знак подадут, огнем, значит. Все и бегут, в которую сторону надо. Навалятся и в одночасье прикончат. Прикончат и в землю зароют. Оружьев они уж тогда не боялись.

Только ведь золото-то человеку, как мухе патока. Сколь ни гинут, а пуще лезут. Так и тут. Много людей сгинуло, а другие идут да идут. Это, значит, слушок про золото дальше да дальше идет. Кто-то, видно, до царя дотолкал. Тут вовсе худо стало — с пушками полезли. Со всех сторон напирают. Даром что лес страшенный, нашли пути-дороги.

Видят стары люди — дело неминучее, сила не берет. Пошли к раненому-то посоветоваться, как дальше быть-поступать. А он на то время на Думной горе был. Для воздуха его девка-то туда притащила, как он вовсе слабый стал. Азов-гора, она сроду в лесу, а на Думной-то на камнях ветерком обдувает. Девка и таскала его. Отходить его все охота было.

Думали они тут целых три дня. Оттого и гора Думной зовется. Раньше по-другому как-то у ей имя было. Обмозговали

все по порядку и придумали переселиться на новые места, где золота совсем нет, а зверя, птицы и рыбы вдосталь. Он же надоумил — соликамской-от — и рассказал, в котору сторону податься. На этом дело решили и в путь-дорогу сряжаться стали. Хотели стары люди этого своего радельца с собой унести, да он не пожелал.

— Смерть,— говорит,— чую близкую, да и нельзя мне.— Почему нельзя, этого не сказал. А девка объявила:

— Никуда не пойду.

Мать, сестры в рев, отец пригрожать стал, братья уговаривают:

— Что ты, что ты, сестра! Вся жизнь у тебя впереди.— Ну, она на своем стоит:

— Такая моя судьба-доля. Никуда от своего милого не отойду.

Сказала, как отрезала. Кремень-девка. По всем статьям вышла. Такую в нонешнем народе поди не найдешь. Родные видят — ничего не поделаешь. Простились с ней честно-благородно, а сами думают — все равно она порченая. У которой ведь девушки жених умирает, так та хуже вдовы. На всю жизнь у ей это горе остается.

Вот ушли все, а эти вдвоем в Азов-горе остались. Людишки уж со всех сторон набились в те места. Лопатами роют, друг дружку бьют.

Раненый-от вовсе ослаб. Вот и говорит своей нареченной:

— Прощай, милая моя невестушка! Не судьба, знать, нам пожить, помиловаться, деток взрóстить.

Она, конечно, всплакнула женским делом и всяко его уговаривает:

— Не беспокой себя, любезный друг. Выхожу тебя, поживем сколь-нибудь.

А он опять ей:

— Нет уж, моя хорошая, не жилец я на этом свете. Теперь и хлебушком меня не поправить. Свой час чую. Да и не пара мы с тобой. Ты вон какая выросла, а я супротив тебя ровно малолеток какой. По нашему закону-обычаю так-то не годится, чтобы жена мужа, как ребенка, на руках таскала. Подождать, видно, тебе причтется — и не малое время подождать, когда в пару тебе в нашей земле мужики вырастут.

Она это совестит его:

— Что ты, что ты! Про такое и думать не моги. Да чтоб я, окроме тебя...

А он опять свое:

— Не в обиду,— говорит,— тебе, моя милая невестушка, речь веду, а так оно быть должно. Открылось мне это, когда я поглядел, как вы тут по золоту без купцов ходите. Будет и в нашей стороне такое времечко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется. Вот тогда и в нашей стороне люди большие да здоровые расти станут. Один такой подойдет к Азов-горе и громко так скажет твое дорогое имечко. И тогда зарой меня в землю и смело иди к нему. Это и будет твой суженый. Пущай тогда все золото берут, если оно тем людям на что-нибудь сгодится. А пока прощай, моя ласковая.— Вздохнул в остатный раз и умер, как уснул. И в туё ж минуту Азов-гора замкнулась.

Он, видать, неспроста это говорил. Мудреный человек был, не иначе с тайной силой знался. Соликамски-то, они дошлые на эти дела. В лесах живут, с колдунами знаются.

Так с той поры в нутро Азов-горы никто попасть и не может. Ход-от в пещеру и теперь знатко, только он будто осыпался. Пойдет кто, осыпь зашумит, и страшно станет. Так впусте гора и стоит. Лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там, в нутре-то.

А там, слышь-ко, пещера огромадная. И все хорошо облажено. Пол, напримерно, гладкий-прегладкий, из самого лучшего мрамору, а посредине ключ, и вода как слеза. А кругом золотые штабеля понаторканы, как вот на площади дрова, и тут же, не мене угольной кучи, кразелитов насыпано.

И как-то устроено, что светло в пещере. И лежит в той пещере умерший человек, а рядом девица неописанной красоты сидит и не утихаючи плачет, а совсем не старится. Как был ей восемнадцатый годок в доходе, так и остался.

Охотников в ту пещеру пробраться много было. Всяко старались. Штольни били — не вышло толку. Даже диомит, слышь-ко, не берет. Хотели обманом богатство добыть. Придут это к горе, да и кричат слова разные, как почуднее. Думают, не угадаю ли, дескать, дорогое имечко, которое само пещеру откроет. Известно, дураки. Сами потом как без ума станут. Болбочут, а что — разобрать нельзя. Имена, слышь-ко, все выдумывают.

Нет, видно, крепкое заклятие на то дело положено. Пока час не придет, не откроется Азов-гора.

Одинова только знак был. Это когда еще батюшка Омельян Иваныч объявился и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот старики наши сказывали, будто на то время из Азов-горы как песня слышалась. Ровно мать с ребенком играет и веселую байку поет.

С той поры не было. Все стонет да плачет. Когда крепость сымали, нарочно многие ходили к Азов-горе послушать, как там. Нет, все стонет. Еще ровно жалобнее.

Оно и верно. Денежка похуже барской плетки народ гонит. И чем дальше, тем ровно больше силу берет. Наши вон отцы-деды в мои годы по печкам сидели, а я на Думной горе караул держу. Потому каждому до самой смерти пить-есть охота.

Да не дождаться мне, вижу, когда Азов-гора откроется... Не дождаться! Хоть бы песенку повеселее оттуда услышать довелось.

Ваше дело другое. Вы молоденькие. Может, вам и посчастливит — доживете до той поры.

Отнимут, поди-ко, люди у золота его силу. Помяни мое слово, отнимут! Соликамский-от с умом говорил.

Кто вот из вас доживет, тот и увидит клад Азов-горы. Узнает и дорогое имечко, коим богатства открываются. Так-то... Не простой это сказ. Шевелить надо умишком-то,— что к чему.

СЛОВАРЬ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ

Баской, побасче — красивый, красивее
Батог, бадожок — палка, дорожный посох
Бельмень — не понимает, не говорит (*татарск.*)
Бергал — старший рабочий (от *нем.* бергауэр — горный рабочий)
Беспелюха — беспечная, неряха, разиня
Блазнить — мерещиться, казаться
Блёндочка, блёнда — светильник, рудничная лампа
Ботало — деревянная побрякушка; колоколец, привязываемый к шее скота
Браный(-ная) — узорчатая ткань ручной работы
Бусая — темно-бурая с синевой

Ватага, ватажка — отряд, артель
Взвалёхнуться — завалиться спать, лечь как попало
Влеготку — легко, свободно, безопасно
Вожгаться — возиться, заниматься, долго и упорно трудиться
Воробы — деревянное приспособление для размотки пряжи
Вострошарая — остроглазая
Вытный (*выть* — доля, надел) — многоземельный крестьянин, старшина артели

Гайтан — шнурок, тесемка для ношения креста, талисмана
Галиться — издеваться, дразнить, мучить
Голбец, голбчик — чулан, шкафчик между печкой и полатями, припечье со ступеньками для входа на печь и лазом в подполье
Гоношиться — копить, беречь, припасать, работать понемногу, делать из остатков
Гребтиться — заботиться, беспокоиться

Дача — участок, территория, находившаяся в пользовании заводов
Диомит — динамит
Долить — одолевать

Ела́нка, ела́нь — открытая поляна в лесу
Е́мко — удобно, ловко, сильно

Жи́ло — жилье, поселение
Жо́гнуть — надуть
Жо́ркий — жадный, обжора
Жуже́лка — мелкий самородок золота

Забе́дно — обидно, досадно
Завы́чка — привычка
Зага́лить — поднять гам, шум
Заде́лье — причина, предлог
Западёнка — западня, тайный ход
Заполо́шная — взбалмошная, ветреная
Запо́н, запо́нчик — передник, фартук
Зау́хать — закричать, зашуметь
Зо́рить — следить внимательно, зорко высматривать

Изобро́чить — нанять по договору, оброку
Изро́биться — изработаться, потерять силу, стать инвалидом
Изро́бленный — ослабевший от непосильной работы

Кайло́, каёлка — отбойный инструмент
Камча́ — плетка, кнут (*татарск.*)
Кержа́к — старообрядец
Копе́йщик — ратник с копьем
Кормова́я коло́да — основной стояк для кормы, на котором подвешивается руль
Ко́рмщик — управляющий ходом судна, рулевой
Королёк — самородная медь кристаллами
Кразели́т — хризолит
Кри́чна — отделение завода, где находились горны и молоты для проковки
Кри́чный мастер — рабочий кричной
Крути́к — обрыв, утес, отвесная скала
Кы́шкаться — копаться, возиться

Лазо́ревка — пташка из рода синичек; лазурит, темно-голубой камень
Лежа́к — лежебока, лентяй
Ле́стовка — кожаные четки раскольников
Листвя́нка — лиственница

Малу́ха — избушка, служащая мастерской
Маракова́ть — соображать, понимать
Мизю́кать — щуриться, плохо видеть, быть подслеповатым

На-машо́к — наотмашь, быстро, внезапно
На у́стороньe — в стороне

Набро́дно — здесь: людно, много народу с разных сторон
Нали́ — даже
Намя́тыш — крепкий, плотный
На́стовать — наставлять, учить, наблюдать
Натака́ть — наговорить
Неочёсливая — непочтительная, невежа
Ноше́бное — ношеное, повседневное
Ня́зи — лесостепь в долине реки Нязь

Оба́льчик — пустая порода
Обзако́ниться — принять закон, пожениться
Обма́нка — ископаемое, которое обманывает своим сходством с другим
Обу́хать — накричать
Обу́я — обувь
Однополо́тная — одностворчатая
Оклема́ться — поправиться, прийти в себя
Ону́чи — портянки, ткань, обертываемая под сапоги, в лапти
Осла́ба — слабина, уменьшение силы
Отстрадова́ть — убрать урожай
Отуто́веть — отойти от страха, опомниться
Оха поймать — сплоховать, охнуть, растеряться

Пару́н — жара, жаркий день
Передом ходить — править, сидеть впереди, на носу
Пода́тная — податливая, сговорчивая
Подлётки — подростки
Поку́читься — попросить
Полёхоньки (полы) — открыты настежь
Помучне́ть — побледнеть
Пона́стовать — помочь, понаблюдать
Пони́точек, пони́ток — мужская верхняя одежда
Поскы́ркаться — поковыряться в земле, порыть
Посло́вный — послушный
Поставить под красную шапку — сдать в солдаты
Посы́каться — попытаться, попробовать
Прика́зный — заводской конторский служащий
Припа́иться — вступить в пай, в долю
Причте́лось — подумалось
Пря́сло — звено изгороди в длину жерди; кольцо с дыркой, надеваемое на веретено для веса
Пусты́ня — здесь: обитель, скит
Пучеша́рая — пучеглазая

Разоста́вок — вставка, клин, то, чем можно расставить ткань, прибавка
Растолма́чить — перевести, растолковать, объяснить
Рём — бор
Ремьё, ремки́ — рабочая одежда, отрепье, лохмотья

Садчée (садкóй) — труднее, больнее
Середá — здесь: средняя полка
Скит — обитель, место проживания отшельников (см. *пустыня*)
Слáни — дорога, настил из жердей в болотных местах
Смóтница — смутьянка, сплетница
Сноровúть — помочь, угодить, сделать кстати, по пути
Соковúна — шлак от медеплавильного и доменного производства
Сорочúны — поминки на сороковой день после смерти
Споты́чка — внезапная остановка
Стáрица — старое русло реки
Столéшница — верхняя доска стола
Стрýганцы — горный хрусталь
Стурять — сбыть, сдать тайком, поспешно
Стяжóк, стяг — здесь: колышек
Супóрствовать — упорствовать, противиться

Тамгá — знак, клеймо
Теплýха — печурка; теплая комнатка, избушка
Толмúть — учить, твердить, повторять
Трóицкая вода — летнее половодье
Тýес — берестяной сосуд с крышкой
Тулáем — толпой *(татарск.)*

Угóить — брать, устроить, привести в порядок
Узóрить — углядеть
Уйти в доски — лечь в гроб, умереть
Улещáть — уговаривать
Умóйная — продувная, бесстыжая
Умýется — заговаривается
Утеклéц — беглец
Утýга — густая толпа, ватага людей
Утýрить — прогнать, угнать, услать поспешно
Ухайдáкать — убить, сгубить
Ухáч — крикун

Фарт — удача, счастливый случай

Хéзнуть — хилеть, чахнуть, слабеть, болеть
Хúтник — вор, хищник, грабитель
Христова невеста — девушка, давшая обет не выходить замуж

Чáкать — лязгать, стучать зубами
Чатúнка — царапинка
Чéтверть — мера жидкости, равная четверти ведра
Чúрла — яичница, глазунья, скороспелка

Шалыга́нить — отлынивать от работы, бездельничать
Шаро́вка — клюка
Шири́нка — отрезок ткани во всю ширину ее, полотенце
Шлиф — грань, обточка
Щёгарь — штейгер, т. е. мастер рудных работ

Яга́ — шуба из собачьих шкур шерстью наружу
Якша́ться — знаться, водиться
Яса́к — дань, подать (*татарск.*)
Я́шничек — ячменный хлебец

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ О П. П. БАЖОВЕ И ЕГО СКАЗАХ

Ф. ГЛАДКОВ

Его «Малахитовую шкатулку» я читал и перечитывал в первом же издании и наслаждался чудесной поэзией исконного русского языка и народной мудростью, которой дышала каждая легенда этой книги. Это была действительно волшебная шкатулка, сделанная искусным умельцем, полная ослепительных драгоценностей, созданных самобытным художником. Эта книга дорога для меня тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа — могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе негасимую правду и творческую красоту.

Л. КАССИЛЬ

Еще до встречи с ним, никогда не видя его портретов, я представлял себе автора «Малахитовой шкатулки» именно таким, каким он на самом деле и оказался... Небольшой и, несмотря на преклонный уже возраст, прямой. Несколько приземистый, прочно стоящий на своей уральской, воспетой им земле и даже, как мне всегда казалось, словно бы глубоко вросший в нее, бородатый, с ясно и глубоко светившимся взором из-под дремучих бровей. Он сам будто вышел из своей знаменитой книги, из недр легендарной горы. Таким рисовался мне и дедушка Слышко, сказы которого о старом Урале дивно отгранил и бережно передал нам мудрый уральский волшебник писатель.

...Бажов говорил очень тихим, глуховатым голосом, медленно и обдумчиво выбирая слова, с легким, характерным для уральского говора, чуть вопрошающим «оканьем». И чувствовалось, что за каждым словом простирается хорошо взвешенная, проверенная на огромном жизненном опыте мысль...

Сам Павел Петрович в жизни никогда не стремился щегольнуть знанием народного языка, поиграть редкими, неведомыми словечками. Он говорил очень просто, без книжных оборотов, не впадая в интеллигентское гладкоречие, но и обходясь без орнаментальных выкрутасов. Человек чрезвычайно начитанный, впитавший в себя лучшие традиции передовой русской литературы, великолепно знавший ее, он сочетал в себе подлинно народную мудрость с тонким, взыскательным вкусом большого художника, отлично ощущавшего новые времена...

Однажды он был очень смущен, хотя и не мог спрятать в бороде радостной улыбки, когда я рассказал ему, что в библиотеке гвардейского миноносца, отличившегося во время конвоирования каравана заокеанских судов за Полярным кругом, я увидел зачитанный до того, что пришлось его подклеивать, экземпляр «Малахитовой шкатулки». И во время похода молодые моряки попросили меня рассказать об уральском кудеснике.

— Нашли про кого рассказывать,— глухо, в бороду, произнес Павел Петрович.— Охота вам была... Но впрочем,— и опять лукаво блеснули на меня эти светоносные глаза из-под бровей,— впрочем, кто знает... Ведь недаром солдаты в походах всегда друг другу сказки сказывали. Без сказки трудно людям. Иной раз и ложка в рот нейдет без присказки. Вы это, помоему, должны хорошо понимать. Вот ведь вы тоже, когда вас в старое время гимназическое начальство допекало, «Швамбранию» себе придумали. Конечно, действительность вас, все ваши ребячьи утопии на свой лад повернула. Но ведь и вы, и те, для кого вы книжку свою писали, сказку вашу не забыли. Вот и я иной раз позволяю себе думать: шут ее знает, эту «Шкатулку» мою... Конечно, патроны в нее не уложишь, но ведь дедушко Слышко кое-что в жизни соображал. И намекал он на вещи серьезные, дельные, без которых и воевать трудно. Ведь у нас люди не просто так стреляют, а знают, за что они воюют, что обороняют. А народ в сказках своих как раз, как мне думается, и раскрывает по-своему, поэтически, то, что иной раз другими словами и не выразишь.

Л. ТАТЬЯНИЧЕВА

Удивлению, восторгу, вызванному красотой мира, литература обязана многими своими шедеврами. Бажов не раз высказывал мысль, что поиски красоты обязательно приведут к постижению творческой сути труда и к дерзновенным поискам открытий. Чудесные сказы Бажова — убедительнейшее доказательство этому. Тайна раскрытия каменного цветка представляется мне не менее значительной и удивительной, нежели тайна раскрытия цветка живого,— ибо эта тайна подчинена извечным законам бытия, а первая обязана трудовому подвигу мастера.

Мастер и мастерство — главные герои бажовских сказов. А Мудрость, Талант, Трудолюбие, Доброта — главные их свойства.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Зав. редакцией Г. Н. Усков

Редактор Ю. Д. Тарасов

Младший редактор Л. Б. Миронова

Художественный редактор Л. Ф. Малышева

Технический редактор В. Ф. Коскина

Корректор Н. И. Новикова

ИБ № 11317

Подписано к печати с матриц 09.02.87. Формат 60×90 1/16. Бумага тип. № 2. Гарнит. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 19+форзац 0,25. Усл. кр.-отт. 20,31. Уч.-изд. л. 17+форзац 0,28. Тираж 875 000 экз. Заказ № 1673. Цена 70 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли. 214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

Эта книга дорога для меня тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа — могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе негасимую правду и творческую красоту.

Федор Гладков

70 к.

П. П. БАЖОВ